

ДАНИЭЛЬ ШПЕК УЛИЦА ЯФФО

НОВЫЙ РОМАН АВТОРА "BELLA GERMANIA" И "PICCOLA SICILIA"



Даниэль Шпек

Улица Яффо

Серия «Piccola Сицилия», книга 2

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69185752
Улица Яффо: Издательство «Фантом Пресс»; Москва; 2022
ISBN 978-5-86471-920-6*

Аннотация

Третий роман автора больших бестселлеров «Bella Германия» и «Piccola Сицилия». «Улица Яффо» продолжает историю, которая началась в романе «Piccola Сицилия».

1948 год. Маленькая Жоэль обретает новый дом на улице Яффо в портовом городе Хайфа. В это же время для палестинки Амаль апельсиновые рощи ее отца в пригороде Яффы стали лишь воспоминанием о потерянной родине. Обе девочки понятия не имеют о секрете, что не только связывает их, но и определит судьбу каждой. Их пути сойдутся в одном человеке, который сыграет определяющую роль в жизни обеих – бывшем немецком солдате Морице, который отказался от войны, своей страны, от семьи в Германии, от своего имени, от самого себя. И всю жизнь Мориц, ставший Морисом, проведет в поисках одного человека – себя настоящего. Его немецкая семья, его еврейская семья, его арабская семья – с какой из них он истинный, где главная его

привязанность и есть ли у него вообще корни. Три семьи, три поколения, три культуры – и одна общая драматичная судьба.

Даниэль Шпек снова предлагает погрузиться в удивительную жизнь Средиземноморья, но полифоничность и панорамность в его новом романе стали еще шире, а драматизм истории Морица-Мориса и его близких не может оставить равнодушным никого.

Содержание

Пролог	6
Глава	10
Глава	22
Глава	35
Глава	42
Глава	54
Глава	68
Глава	81
Глава	96
Глава	103
Глава	120
Глава	131
Глава	152
Глава	181
Конец ознакомительного фрагмента.	200

Даниэль Шпек

Улица Яффо

© 2021 Daniel Speck

© Анна Чередниченко, перевод, 2022

© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2022

* * *

*Мы редко знаем, что такое счастье, но обычно
понимаем, что было счастьем, когда оно прошло.
Франсуаза Саган*

* * *

Пролог

Позже, в моменты сомнений, в памяти Жоэль всегда будут возникать эти утренние часы. Бесконечное море вокруг и ощущение полной безопасности в его объятиях. Чистое, сияющее счастье. Когда она пытается вспомнить папá, то всегда видит его молодым человеком – стоит у релинга, в утреннем свете, с маленькой дочкой на руках. Поплотнее натягивает коричневую фетровую шляпу, чтоб ее не сдуло ветром, его шершавые небритые щеки прижимаются к ее лицу, он показывает на облако, похожее на скачущую лошадь. Или на кита. Или на дракона. Она любила его так, как любят только дети – безоговорочно. Между ними не было ни тени фальши, только любовь и доверие. Когда папá был рядом, она забывала про потные тела на нижней палубе, про вонь и жуткие звуки, что ночами преследовали ее весь путь по Средиземному морю, забывала свои беспокойные сны и тот ужас, который все старались забыть. Папá всегда пел одну песню, совсем тихо, чтобы никто не услышал, ведь пел он на немецком. Жоэль еще помнит припев: «Родина моя, твои звезды сверкают мне и на чужбине». Ей нравилось звучание слов, хотя она не понимала ничего. А покачивание в его руках было для нее неотделимо от дыхания моря. И она до сих пор помнит, как эта таинственность, вплетававшаяся в гигантские облачные башни над водой, одновременно и тревожила, и

погружала в покой.

Если в те ранние годы папá и передал ей что-то в наследство, так это свою уверенность. Когда он был рядом, жизнь была легкой и надежной для Жоэль. Несмотря на окружающий хаос, мир казался таким удивительно упорядоченным. Сейчас, когда то чувство защищенности утрачено, Жоэль спрашивает себя, была ли у папá действительно эта внутренняя сила или же он старался быть сильным ради своего ребенка, хотя сам ощущал себя столь же потерянным, как и прочие бедняги на том корабле. Секрет счастья, сказал он однажды, в благодарности. Неважно, чем ты обладаешь, много у тебя имущества или мало. Главное – чувствуешь ли ты благодарность за это. Жизнь – это дар, Жоэль, это милость. Она висит на тоненькой ниточке. Даже не думай, будто ты имеешь на нее какое-то безусловное право.

И действительно, лишь благодарность превращала обветшалый пароход в дом, узкую койку сделала кроватью, а страну, куда они держали курс, – родиной. Никакая даль их не страшила, и надежда была их единственным достоянием. Каждый пел и мечтал на своем языке, а море несло их. Почему они верили в лучшее? Никто не знал. Ими владела беспричинная радость выживших. Никто из них никогда не видел ту страну, что была им обещана – в лагерях для перемещенных лиц в разрушенной Европе, в нелегальных конторах и темных переулках, где они обменивали банкноты на слухи. И все же она казалась им не чужбиной, а надежной при-

станью, которая встретит их с распростертыми объятиями. Они обманывали себя, как любые беглецы, но то был сладкий обман.

– Куда мы плывем, папá?

– Всегда навстречу восходящему солнцу. Пока море не закончится.

Так просто. Если в этом мире и был человек, на которого она могла положиться, – это был папá. Он научил ее не только ходить и ездить на велосипеде, но и быть свободной в мыслях и иметь мужество для жизни, которую не определяет никто, кроме нее самой. Папá был немногословен, но знал, куда идет. У него было качество, которого многим сегодня не хватает, – совесть. Внутренний компас. Когда он называл что-то правильным, это было правильным, а если он считал что-то лживым, так то и было. Позже, когда Жоэль заблудилась в мире и не знала, как выбраться, ей так хотелось спросить его совета. Однако папá обманул ее в самом важном жизненном вопросе: кто я?

– Морис! – заорал сзади матрос. – Прочь от релинга! Всем пассажирам вниз!

В то же мгновение они заметили дым из трубы британского эсминца. Капитан, который не носил формы, вышвыривал с мостика за борт рыболовные карты, бортжурнал, рацию. У них не было оружия, но ненавистных британцев они встретят градом из консервных банок. Они не позволят отправить себя назад, все мосты позади сожжены. Уже совсем рядом,

за горизонтом – их Земля Обетованная.

Глава 1

*Средиземноморье говорит множеством голосов.
Фернан Бродель*

Палермо

Мориц накрыл стол на двоих. Между чистых тарелок стоит полупустая бутылка вина; кто-то пил из одного бокала, второй чист. Нетронутые мисочка с оливками и тарелка с засохшими ломтиками багета, по которым ползают муравьи. Выстрел раздался снаружи, из гаража. Но вначале он закрыл ставни. Словно застрелился из-за того, что так и не дождался гостя. Время в доме остановилось, кажется, лет тридцать тому назад: старый городской телефон, проигрыватель для пластинок, никакого компьютера. Его кошка беспокойно трется о мои ноги – о ней никто не позаботился. И первое, что я делаю, попав в дом деда, – ищу кошачий корм. Открываю окно, солнечный свет льется в полутьму, кричат дети, тархтят мотороллеры, шелестят пальмы. В саду – терракотовые горшки, длинные качели с навесом, которые еще называют голливудскими, и цветущая живая изгородь, отделяю-

щая участок от соседнего. Немного похоже на тайное убежище, но рядом море, а сверху раскинулось безоблачное небо. Все это он видел ежедневно. Я задаюсь вопросом, скучал ли он по родине. И чем занимался все эти годы в Палермо. И сколько людей можно любить в течение одной своей жизни.

Сзади поскрипывает старый паркет. Жоэль с потерянным видом идет по комнате, а когда она поворачивается, передо мной уже не та элегантная дама, какой она была при нашем знакомстве. Это беспомощная, дрожащая девочка.

В ее глазах – вопрос: почему?

* * *

Еще вчера утром мир был в порядке. Нет, конечно, он никогда не бывает в полном порядке, где-то что-то постоянно ломается, но кому это интересно. Я смогла подобрать черепки своего разбитого брака, рассортировала и подписала их. Пусть и не все пока совпадает, но я же умею довольствоваться фрагментами. Я обрела твердую почву под ногами и начала расправлять крылья, порой с удивлением замечая, что вот уже несколько дней не вспоминаю о разводе. Берлин наполнялся легкостью, освобождался от зимы.

Я точно помню, когда зазвонил мобильный, – в 9 часов 33 минуты, потому что в этот момент поезд метро остановился в туннеле, почти у самой Фридрихштрассе, и я посмотрела на экран. 0039 – код Италии. Звонивший представился

адвокатом Каталано из Палермо. Нотариусом моего дедушки, Морица Райнке. Спросил, как меня зовут. Нина Циммерманн, да, все верно. Могу ли приехать завтра в Палермо. Нет, ответила я, это невозможно. Поезд, дернувшись, опять поехал, и я продвинулась к выходу. Уже хотела закончить разговор, как адвокат сказал, мол, ему крайне жаль, что придется передавать мне столь печальную весть, но мой дедушка позавчера умер. Поток выходящих пассажиров выплюнул меня на перрон. Собеседник говорил совершенно спокойно – назвал мой адрес, дату и место моего рождения. Эти данные указаны в завещании, которое у него хранится. Согласно итальянскому законодательству я должна лично приехать в Палермо, чтобы вступить в права наследства. А быть может, я и на похороны... Люди протискивались мимо меня, толкали в спину, а я ничего не чувствовала. Как попрощаться с человеком, которого никогда не видела?

* * *

На улице я судорожно глотнула свежего воздуха и набрала парижский номер тети Жоэль. По ее голосу я сразу поняла, что она уже все знает. Нотариус звонил и ей. А потом она произнесла фразу, которая выбила у меня почву из-под ног: – Он сказал, что это самоубийство.

У нее был надломленный и безутешный голос. А я чувствовала себя оглушенной, смятенной, но главное – обману-

той. Человек, которого мы вместе искали, умер, прежде чем мы смогли найти его. Мой дед, ее отец, навечно исчезнувший.

– Нина, я не могу поверить. Я же его знаю. Он никогда бы этого не сделал.

Факты. В таких ситуациях надо держаться фактов.

– Где это случилось?

– В Палермо. У него там дом, по словам нотариуса.

– А как он тебя нашел, Жоэль?

– В завещании были мои адрес и телефон... Ты можешь себе представить, все эти годы он знал, где я живу, и никогда...

У меня закружилась голова.

– Ты приедешь, Нина? Пожалуйста. Я не выдержу одна.

Я позвонила своему начальнику в отделе древностей, собрала чемодан и вылетела на следующее утро первым же рейсом. Берлин – Рим – Палермо. *Вступить в права наследства дедушки.* Что это значит? До сих пор все наследство, что нам от него досталось, – это пустое место, порождавшее легенды. *Он не вернулся с войны* – одна из скупых фраз моей бабушки о нем. Или: *Он пропал без вести в пустыне.* У отсутствующих больше власти, чем у оставшихся, это я поняла еще в детстве, ведь наш беспокойный дух не выносит пустоты, ее нужно заполнить слухами, пусть и лживыми, – все лучше, чем ничего. Тень от его молчания ожесточила мою бабушку, а мать превратила в скиталицу. Для нас не осталось ни-

чего, ни каких-то личных вещей, ни могилы, куда мы могли бы приходить. Обычно смерть ставит точку в конце жизни, иногда – восклицательный знак или запятую, если приходит слишком рано. Дед оставил знак вопроса. Человек с двумя именами. Мориц, Морис. Хамелеон с тремя жизнями. В одной была моя семья. В другой – семья Жоэль. А о третьей мы обе ничего не знали.

* * *

Я познакомилась с Жоэль прошлой осенью, хотя кажется, с тех пор прошла уже целая жизнь. Родиться можно дважды: первый раз без особого личного содействия, а второй раз – из себя самой, и Жоэль стала мне второй матерью, хотя я никогда ей об этом не говорила. Наши долгие прогулки по пляжу, наши ночные разговоры возродили меня из краха моего брака. С тех пор я перевернула жизнь с ног на голову, но теперь меня это несколько не пугало, а радовало – и все благодаря Жоэль. Ее рассказы о дедушке помогли вырваться из плена жалости к самой себе. Сколько же самомнения было во мне, когда я считала, будто со мной случилось нечто из ряда вон выходящее, а на самом-то деле проще некуда: в Берлине появилась еще одна разведенная женщина, и все, а ведь где-то умирают люди. Бывают истории, которые меняют жизнь. Одни – потому что находишь в них себя, а другие – потому что позволяют увидеть мир чужими глазами. Для меня все

переменилось, когда я узнала, что мой дедушка Мориц, без вести пропавший в Африке, вовсе не погиб, а создал вторую семью вдали от родины, но я не прокляла его за это, а постаралась понять причины. Он бросил мою бабушку на произвол судьбы в разбомбленном Берлине не потому, что не любил ее. А потому что жизнь подарила ему посреди войны новую любовь. И дочь по имени Жоэль. Он не знал, что в ночь перед отъездом на фронт он зачал ребенка, мою маму. Все оказалось так просто, и простой ответ порой может залечить рану. Бабушкина жестокость, которая довлела над нашей семьей, больше не имела власти надо мной. Как же мне хотелось, чтобы мама, никогда не видевшая своего отца, была сейчас жива и встретилась с Жоэль, своей незнакомой сводной сестрой, родившейся в том же 1943 году. Одна – в Берлине, другая – в Тунисе. Союзники разгромили немецкий Африканский корпус, сотни тысяч немцев и итальянцев попали в плен, но Мориц в последнюю минуту дезертировал. Его спрятала в своем доме семья Сарфати. Итальянские евреи приняли его в семью как сына, потому что под военной формой увидели человека. Через окно он слышал море, отделявшее его от Европы. А в соседней комнате спала девушка, которой суждено было стать любовью его жизни. Это была мать Жоэль. Мориц, ставший Морисом, подарил Жоэль счастливое детство, которого была лишена моя мама. А когда Жоэль выросла, Мориц пропал из ее семьи так же тихо и бесследно, как из моей. Она никогда не теряла надежды

ВНОВЬ УВИДЕТЬ ЕГО.

* * *

И вот я хожу по его дому как чужой человек, у ног мяукает кошка, для которой я никак не могу отыскать этот проклятый корм. Жоэль стоит перед закрытым пианино, читая ноты на пюпитре. Она кутается в шаль, потому что ее знобит, а потом обнимает меня, словно я могу ответить на ее «почему?», и плачет. Я тоже обнимаю ее, удивляясь, как легко мне ее утешать, хотя я сама совершенно потеряна. Человек в саду наблюдает за нами через окно.

– Я не доверяю ему, – шепчет Жоэль.

* * *

Каталано, нотариус, так и не появился в аэропорту Палермо, хотя обещал нас встретить. Я искала его глазами в зале прилета, вокруг толпились мужчины с табличками в руках, однако моего имени нигде не было написано. Что я вообще здесь делаю, думала я. И тут увидела Жоэль. Она ждала у бара. Рядом с ней уборщик включил поломоечную машину, но казалось, ей вовсе не мешал шум. Маленькая и энергичная, как всегда элегантная, она выглядела даже слишком молодо в своем летнем костюме и шляпке. Накрашенные губы,

глубокие морщины у рта от частых улыбок, сияющие глаза. И конечно, с шалью, от которой Жоэль не отказалась даже в этот теплый апрельский день. Ей за семьдесят, но она такая живая, какой я никогда не осмеливалась быть. Она улыбнулась, заметив меня, и на первый взгляд казалась прежней Жоэль, но, подойдя ближе, я увидела, какая бездна в ней разверзлась. Она ласково обняла меня. Слова были не нужны. Есть люди, которых ты сам не способен найти, но они находят тебя. Жоэль именно такая. Когда она нашла меня, внутри меня словно воцарился целительный хаос.

А потом позвонил нотариус, объяснив, что произошла некоторая задержка из-за полиции и фиксации следов, мол, он очень извиняется и приедет позже к нам в отель.

– Продиктуйте адрес отца, – потребовала Жоэль.

Каталано попытался увильнуть от ответа, предлагая поехать туда завтра, но Жоэль непреклонно настаивала, пока он не назвал адрес. И пообещал дожждаться нас.

В такси мы молчали, потом Жоэль взяла мою руку и сжала. Когда мы выехали на шоссе, идущее вдоль моря, она опустила окно и, не спрашивая водителя, закурила.

* * *

Вот и тот самый дом в Монделло. Предместье с богатыми виллами прильнуло к бывшей рыбацкой деревне, куда приезжают на автобусах отдыхающие из Палермо с их пляжны-

ми сумками. Вообще-то я уже была здесь однажды, во время свадебного путешествия. Мне неприятно представлять, что дедушка жил неподалеку от пляжа, на котором я лежала с бывшим мужем. Если бы Мориц прошел мимо, я не узнала бы его – один из тех вальяжных господ в шляпе, переехавших подальше от городской суеты. Тут тенистые аллеи, ухоженные сады, виллы в стиле модерн. Все это словно выпало из времени: белый песчаный пляж, купальня на пирсе с фасадом ар-деко, аристократическая летняя идиллия, ныне опошленная шумом баров и ресторанов на набережной, где развеселые палермцы смешиваются с местными старушками, выгуливающими собак.

Первое впечатление от дома было отталкивающим. Наверно, из-за тишины вокруг него. Ставни закрыты. На дорожке опавшие листья и цветы. В палисаднике перед домом – высокая одичавшая пальма. Дом стоял на боковой улочке недалеко от моря. Простой белый фасад безо всяких украшений, с уже облупившейся штукатуркой. Дом выглядел ухоженным, но постаревшим. Очевидно, Мориц был небеден или же купил дом десятилетия тому назад, за еще доступную цену. Всю свою жизнь я мечтала о доме у моря. И вот он ждет меня под сицилийским небом. Я сразу прогнала прочь такую мысль. Железные ворота были открыты. На гравийной дорожке перед гаражом стоял черный «мерседес», рядом двое мужчин. Один, постарше, разговаривал по телефону, и я узнала голос нотариуса. Полноватый, в костюме, явно

сшитом на заказ, галстук, ухоженные редкие волосы – весь вид говорит о состоятельности. Другой, помоложе, курил рядом. На вид ему было лет тридцать пять – сорок, и я решила, что он сицилиец. Джинсы, пара верхних пуговиц рубашки расстегнуты, стройный, со стильной пятидневной небритостью, седые проблески в черных волосах. Заметив нас у ворот, он какое-то время глядел в упор, не приглашая, однако, внутрь. Лишь когда я вошла в ворота, а Жоэль – за мной, он сделал пару шагов навстречу. На первый взгляд он излучал невозмутимость человека, который повидал в жизни немало. Сильный, но спокойный. Но, взглядевшись, я увидела в нем и ту же печать бессонной ночи, и такое же полнейшее смятение, как и у нас. Он просто лучше контролировал себя.

– *Buongiorno.*

Протянул руку, не представляясь. Похоже, он ждал нас, хотя во взгляде сквозило недоверие. Или это робость? Пожатие было крепким. Самым примечательным в нем были выразительные темно-зеленые глаза. Он смотрел мне прямо в лицо, пристально, словно хотел понять, что я за человек. Он смущал и притягивал меня: несмотря на приветливость, от него исходило нечто непостижимое, будто отделявшее его от остального мира, но я не могла определить, что это. Некоторые люди не скрывают свои травмы. Например, как я, как не умеющие притворяться. Которые вечно все обдумывают. Но есть и другие, чьи раны столь глубоки, что им нельзя размышлять о случившемся – ради собственного выживания.

Он казался именно таким. Это был самый грустный и привлекательный мужчина, какого я встречала.

Нотариус закончил разговор и энергично пожал нам руки: – Бруно Каталано. *Benvenuti a Palermo!* Добро пожаловать в Палермо! – Потом представил нас: – Синьора Сарфати из Парижа. Синьора Циммерманн из Берлина. А это доктор Бишарá.

И бросил быстрый взгляд на другого, словно спрашивая его, нужны ли какие-то объяснения. Я заметила краткое замешательство, которое оба постарались скрыть. Я подумала, что *dotmore* мог быть врачом бабушки, но вслух не спросила. Может, бабушка болел?

– Мои искренние соболезнования, – сказал Каталано.

– *Grazie*, – ответила Жоэль. – Можно нам войти?

И, не дожидаясь ответа, направилась к дому. Она с самого начала держалась с Каталано отчужденно, хотя он не давал к этому повода. Он был вежлив и тактичен, но тем не менее именно нотариус стал вестником новости, которую она не хотела слышать. Ее отец принадлежал ей, и любой, кто разрушал ее воспоминания, ее надежду, что отец все еще жив, грубо вторгался в сокровищницу ее души. Второму мужчине она и вовсе не уделила внимания. Но я почувствовала, что о тайне бабушки мог знать именно он, а не нотариус. Каталано поспешил за Жоэль, нагнав ее у двери. Мы с Бишарой стояли на месте.

– Вы пойдете с нами? – спросила я.

Наши взгляды встретились, темно-зеленые глаза задержались на мне на мгновение дольше ожидаемого. Потом он покачал головой. Я ощутила инстинктивную неприязнь – точно у зверя, который избегает чужой территории. Каталано позвал меня, и я пошла к дому, оставив Бишару у ворот. Такой была наша первая встреча, три чужака у двери дома исчезнувшего человека, под пальмами, ветренным весенним днем.

Глава

2

Его тело уже увезли. Мы стоим в прохладной гостиной, как будто нас сюда пригласили, но не встретили, вдыхаем запах его кожаных кресел и ковров, разглядываем его фотографии на стенах и его книги на полках. Без сомнения, он здесь жил, вот фотографии, но я признаю его лишь в черно-белом юноше на мостках в Вензее, по пояс голый, он скептически смотрит в камеру. Наверно, его фотографировала моя бабушка, она рассказывала мне, как впервые встретила там этого тихого мальчика, который держался в стороне, всегда носил с собой фотоаппарат и снимал исключительно хорошие портреты. На поздних фотографиях я почти не узнаю его. Вот пожилой человек пропальывает клумбу с розами. Согнутая спина, седые волосы. А вот более ранняя: у него еще темно-каштановые и густые волосы, он хорош собой, в летней рубашке с закатанными рукавами около коричневого «ситроена» – наверно, это конец семидесятых. Он смотрит в камеру, опять скептично улыбаясь, словно не совсем доверяя фотографу. Я пытаюсь понять, где сделана эта фотография, но номер машины не виден, и рядом никого – ни жены, ни детей, только резкие, очевидно южные тени. Из таких черепков мне ничего не собрать.

– А как вы вообще нашли нас? – спрашиваю я у нотариуса.

– Синьор Райнке указал ваши адреса и телефоны в завещании.

– *C'est impossible!*¹

Жоэль в полном смятении. Как и я. Мне горько от мысли, что он знал, где меня найти, но никогда не пытался встретиться. И меня это злит.

– Неужели вы совсем не общались? – спрашивает Каталано.

– Нет! – выкрикивает Жоэль.

– Как он смог нас найти? – удивляюсь я.

– Не знаю, – отвечает Каталано, – но в наши дни не очень-то сложно разыскать такую информацию.

Жоэль опирается на диван, а потом, обессилив, садится.

– Тебе нехорошо?

– Нина, ты что-нибудь понимаешь?

– Нет.

– Давайте я отвезу вас в отель, – говорит Каталано и направляется к двери.

Он ведет себя с какой-то странной властностью. Будто это его дом.

– Мы останемся здесь, – решительно отвечает Жоэль.

Каталано вопросительно смотрит на меня. Я совсем не уверена, что хочу ночевать здесь, в доме мертвеца.

– Но где вы собираетесь спать? Гостиная комната не при-

¹ Это невозможно! (*фр.*)

готовлена.

– Мы разберемся, – говорит она.

– Но вам, наверно, нужно поесть?

– Мы сами себе приготовим.

– Синьора, простите, все же вам нельзя здесь оставаться, – продолжает настаивать нотариус. – Это место преступления. Уголовная полиция...

– Я думала, это было самоубийство? – прерывает его Жоэль.

– Но и в этом случае полиция должна...

– Я хочу увидеть тело.

– Конечно, синьора, завтра мы можем пойти к судмедэксперту. Однако в этом доме... Я вынужден просить вас...

Она резко встает:

– Это дом моего отца. Разумеется, я буду спать здесь.

Она бросает на меня взгляд, говорящий, что я тоже останусь здесь, и идет к лестнице. Вздохнув, Каталано беспомощно разводит руками. Через окно я вижу на террасе доктора Бишару. Он поливает растения. Очевидно, наблюдал за нами. Каталано машет ему и выходит на улицу. Я не слышу их разговора, но по жестам понимаю, что Бишара успокаивает нотариуса. Когда я выхожу на террасу, Бишара говорит:

– Все в порядке. Добро пожаловать.

– Она так давно его ищет, – объясняю я. – И всегда надеялась еще увидеть его, живым.

– Понимаю, – отвечает Каталано. В его тоне отчетливо

слышится «однако...».

– Он ничего про нее не рассказывал?

– Очевидно, старик скрывал пару секретов. – В голосе Бишары явная ирония, но ни намека на удивление.

– Сарфати – это еврейская фамилия? – спрашивает Каталано.

– Да.

– Но Мориц...

– Мама Жоэль – еврейка.

Бишара слушает нас с любопытством, хотя не подает вида. Мне кажется, Каталано задал этот вопрос специально для него.

– Вы знаете, что мой дедушка был солдатом в Тунисе?

– Да.

– Там он и познакомился с матерью Жоэль.

– Ах вот что. Ты знал об этом? – спрашивает Каталано у Бишары.

Тот качает головой.

– Я тоже об этом не знала, – говорю я. – Он же считался пропавшим без вести. Я вообще не знала, что он делал на войне. Был он убежденным нацистом или нет. А потом я встретила Жоэль. И она рассказала, что случилось в Тунисе. Оказалось, он спас жизнь итальянскому еврею.

– *Davvero?*² – восклицает Каталано, словно не ожидал та-

² Неужели (*um.*).

кого от Морица. – *Bella storia!*³

Я вижу, что Бишара явно о чем-то размышляет.

– А потом ему самому пришлось прятаться, – продолжаю я, – и его укрыли у себя в доме родители этого человека. Там Мориц и влюбился в их дочь, в мать Жоэль.

– Тогда там жило много итальянцев, – подхватывает Каталано. – Евреи, католики, *tutti quanti*, все подряд. Они называли место *La Piccola Sicilia*, Маленькая Сицилия. От нас до нее ближе, чем до Рима. Это все, что нужно знать о нас, сицилийцах!

Он улыбается со значением, как будто только что объяснил мне устройство мира. Бишара смотрит на меня внимательно, но молчит. Не то чтоб он мне не верит, но как будто знает больше, чем я.

Со второго этажа раздается глухой грохот, словно что-то упало. Наверно, Жоэль что-то задела. Каталано, вздохнув, идет в дом. Он проходит внутрь гостиной, так что я его уже не вижу, однако слышу, как он закрывает раздвижную дверь к задней части комнаты, где стоит письменный стол.

– А вам он что рассказывал? – спрашиваю я у Бишары.

– Что он вернулся после войны обратно. В Берлин. У него там была семья.

Я не верю своим ушам. Это именно тот вариант его судьбы, о котором всегда мечтала моя мать. Но который так и не осуществился.

³ Прекрасная история! (*ит.*)

– Нет, он не вернулся. Ни живым, ни мертвым.

Не понимаю, зачем ему понадобилось обманывать Бишару.

– А сколько он здесь жил?

– Долго. Около тридцати лет.

– А вы... его врач?

Бишара кивает, хотя в мыслях он где-то далеко, не со мной. И похоже, рад, когда Каталано прерывает наш разговор. Нотариус по-прежнему надеется, что я все-таки поеду в отель. Говорит, что зарезервировал нам два номера. Но я отвечаю, что не могу оставить Жоэль одну. Хотя ситуация мне так же неприятна, как и ему. Зову Жоэль. Но она не откликается.

– *Andiamo*, Бруно, пошли! – торопит его Бишара. – Я должен еще забрать своих детей.

– Пожалуйста, только ничего не трогайте, – просит меня Каталано и, помедлив, добавляет: – Обнародование завещания... – Но не заканчивает фразу, подыскивая подходящие слова.

– Вы его уже читали? – спрашиваю я.

Он прячет глаза. Протягивает мне визитку:

– Приходите завтра в десять в мое бюро. Там мы обсудим... все.

– *Arrivederci*, – спешит закончить разговор Бишара.

Каталано с неохотой идет вслед за ним по саду. Прежде чем завернуть за угол дома, оборачивается. Ему не по нраву,

что мы остаемся здесь одни. И опять во мне поднимается то чувство из детства – неопределенность, источником которой было исчезновение Морица; когда нет четких правил, каждый придумывает свои собственные, и я в этом теряюсь. Мне нужно, чтобы кто-то заполнил этот вакуум – спокойствием и надежностью. И я боюсь, что Жоэль, как бы ей этого ни хотелось, больше не в силах мне помочь.

* * *

Когда звук мотора стихает, на террасе появляется Жоэль. Она выглядит уставшей. Что-то в ней сломалось. Треснул тот крепкий фундамент, на котором покоилась ее беспечность. Я предлагаю пойти поесть куда-нибудь, но она словно в трансе подходит к гаражу и останавливается. Желтая оградительная лента, натянутая полицейскими, трепещет на ветру. Я встаю рядом, и мы вместе смотрим на белую дверь. Я рада, что гараж закрыт. Потом беру Жоэль под руку, и мы возвращаемся в дом.

Она распахивает все окна – высокие створки и деревянные ставни. Комната наполняется вечерним светом, шумом моря. Слово хочет прогнать смерть из покинутого дома. Но я на шаг впереди нее и чувствую, что *он* умер и бесполезно это отрицать. Открыв раздвижную дверь, Жоэль подходит к его письменному столу. Я и не пытаюсь остановить ее – бесполезно. Она выдвигает ящики, роется в бумагах, са-

ма не понимая, что ищет, а на самом деле желая найти его – вроде такого близкого, но исчезнувшего. Мне не по душе вторгаться в его владения, пока он еще не погребен. Иду на кухню, чтобы сделать кофе. Мяукает кошка. В конце концов нахожу для нее в холодильнике мортаделлу. И вдруг замечаю на стене карандашную записку, написанную Морицем по-итальянски: «Сливочное масло. Петрушка. Стиральный порошок. Кошачий корм». Размашистый старомодный почерк, который кажется четким и энергичным. Я проверяю, нет ли на кухне следов женского присутствия, но ничего не вижу. Зато все чисто и убрано, как будто он не хотел оставлять после себя беспорядка. Обязательно надо спросить нотариуса, нет ли прощального письма – вдруг мелькает у меня в голове. А кофе он варил в старой закопченной *caffetiera*, гейзерной кофеварке. В воронке холодная кофейная гуща. Его последний кофе. Чуть поколебавшись, я выбрасываю гущу и зажигаю газовую плиту.

– Жоэль, перестань! – Я не нахожу слов, чтобы ее утешить.

Ставлю чашку с кофе на письменный стол, бросаю взгляд на разбросанные бумаги и быстро отворачиваюсь – не имею права их читать. И тут на стене, за спиной Жоэль, замечаю сейф. К стене прислонена картина с рыбацкими лодками, которая, очевидно, его раньше скрывала. Дверца сейфа приоткрыта, и я вижу, что он пуст.

– Смотри!

Жоэль не реагирует. И только тут я замечаю, что она пла-

чет, дрожит всем телом, не переставая искать что-то, чего найти попросту не может.

– Ничего. Совершенно ничего.

– В смысле – ничего?

– Ни единой фотографии – ни меня, ни мамы. Ничего.

И действительно. На добротном старинном письменном столе явно не хватает того, что обычно присутствует на столе пожилого человека, – семейных фотографий. Нет ни нашей семьи, ни семьи Жоэль.

– Он нас попросту уничтожил. Согласись, это возмутительно!

Нет, не соглашусь. Именно таким я его и узнала, этого человека, которого мне не дозволено было знать. Вот мне девять лет, и я вижу, как мама в приступе то ли гнева, то ли тоски выхватывает из шкафа бабушкин фотоальбом, нервно перелистывает и швыряет на пол, обвиняя бабушку в чем-то, чего я не понимаю. Я только помню, что бабушка ответила: он мертв и маме пора наконец понять это. Миллионы солдат сдохли – вот такая была война. А мама кричала: нет, этого не может быть, нет никаких свидетельств! Может, он все еще где-то жив!

И вот теперь Жоэль, спустя несколько десятилетий, во власти такого же гнева, такой же травмы, такого же неприятия реальности. Хотя для нее-то он был отцом. Я знаю, что есть мужчины, у которых две семьи одновременно, причем женщины не подозревают друг о друге, знаю и о том, что по-

рой мужчина попросту исчезает – чтобы завести в другом месте вторую семью. Но мужчина, который пропадает дважды, который дважды бросает жену и дочь и начинает третью жизнь под пальмами – что это, как не патология?

– Жоэль, не надо.

– Райнке, Райнке, Райнке. Нигде нет Сарфати!

Она вынимает из ящиков его письма, счета за электричество, какие-то рукописные бумаги, выискивает фамилию, и везде только это немецкое имя – Мориц Райнке. Я беспомощно наблюдаю, как она погружается во тьму. Сам ты не способен понять, что ослеп от любви или ненависти, зато это хорошо видно со стороны. Возможно, я любила этого человека именно потому, что его не было рядом. Потому что он ускользал и менялся, как только его образ обретал очертания. Пока он был никем, он мог быть любимым. Он был чистым холстом для моей фантазии. А для Жоэль – путеводной звездой ее детства. В ее памяти время остановилось, его образ окаменел, словно у него не было дальнейшей жизни. А сейчас все рассыпается. Впервые я опережаю ее на шаг. И теперь я должна стать для нее опорой.

– Жоэль, посмотри сюда, видишь? – Вечерний свет лежит на подоконнике, и на чуть пыльной поверхности заметны два пустых четырехугольника. Именно сюда должен падать взгляд сидящего за столом человека. – Тут стояли фотографии.

Жоэль проводит пальцем по пыли вокруг.

– Они стояли здесь еще недавно.

Я осматриваю стену. Если приглядеться, то и здесь видны чуть более светлые места, где наверняка висело что-то в рамках. Но это убрали. Может, полиция, или Мориц, или кто-то еще? Что было на этих фотографиях?

– Он так много фотографировал, – говорит Жоэль. – У него *должны* быть мои фотографии. Сотни.

– Почему он оставил твою маму?

– Он ее не оставлял. Она была любовью всей его жизни.

В первый раз я чувствую, что не совсем верю Жоэль. Мне интереснее истории краха, чем истории счастья. Так было всегда, даже до моего развода. Я не доверяю романам и фильмам, которые заканчиваются объятием влюбленных. Подростком я придумала такую странную хитрость: чтобы решить в магазине, стоит ли покупать книгу, я никогда не читала первое предложение, но открывала самый конец и читала последнюю страницу; если все заканчивалось хорошо, я книгу откладывала. Ложь я не покупаю. По-моему, счастливый конец – это предательство по отношению к реальности. Темные тайны, трагические расставания, невозможная любовь – вот это по мне. Мой бывший – я теперь называю его только так, а не по имени, это тоже своеобразное уничтожение – часто потешался над этим. И правда, в нашем браке не было ни тени трагедии или крушения. Это было единственное место в мире, где я не предчувствовала несчастья, это был мой остров. В глубине души я гордилась, что обустро-

ила свое гнездо лучше, чем мама и бабушка. Я не могла и помыслить, что бомба разорвется как раз там. А теперь меня уже ничто не может потрясти. Всякая любовь конечна. Но дело не в том, что мир плох, нет, мир полон любви, и именно это – проблема. Самый страшный враг любви – вовсе не ненависть, а другая, более сильная любовь. И тот, кому достается мало любви, становится одержим ею, зависим от нее, ему хочется все больше и больше.

– Жоэль, что случилось? Расскажи мне правду. Даже если она причиняет боль.

* * *

Нужно время, чтобы она успокоилась, и мы, обессиленные, наконец садимся у окна и ждем. Пока свет медленно не померкнет и по комнате примутся бродить тени. Пока не опустится тишина и Жоэль сможет впустить воспоминания.

– Представь себе мужчину, – наконец начинает она, – который принял решение. Ради своей семьи. Отвергнув все, что раньше имело для него значение. Просто представь, даже если считаешь, что мужчины не способны так любить. Раньше были такие мужчины. Они не тратили слов, они проявляли свою любовь, когда после войны закатывали рукава и строили дом, собственными руками. Быть может, они были более замкнутыми, чем нынешние, быть может, не понимали своих женщин, может, даже обманывали их. Но поверь мне,

ради семьи они смогли бы убить.

– Он что, правда кого-то убил?

– Нет. Может, в том и была его единственная слабость. Может, он был слишком добрым. Может, иначе все бы не разрушилось. Но его поступок потребовал от него даже больше мужества. Потому что ему пришлось убить себя. Ради любви к моей маме. Он изменил имя, принял ее религию и женился на ней. Вскоре после войны он сел с ней на нелегальный пароход для эмигрантов, чтобы больше никогда не возвращаться.

Глава

3

Вся великая литература – это одна из двух историй: человек отправляется в путешествие, или чужеземец появляется в городе.

Лев Толстой

Лагерь номер 60

– Мое имя – Морис Сарфати.

– У вас фальшивый паспорт.

– Мое имя – Морис Сарфати.

Если он много раз это повторит, они поверят. Притом он даже не врет. Он же не говорит: «Я – Морис Сарфати». Он носил имя, как новую рубашку, как трость или ключи.

Пока они в это не поверят. Пока он сам не поверит.

Жоэль стояла рядом, в очереди на пыльном пирсе, и держала маму за руку. Обетованная земля воняла машинным маслом и солоноватой водой – смесью пресной и морской. Жара. Повсюду чемоданы, на мешках с песком мотки колючей проволоки, бледные солдаты в шортах и красных кепках проверяли документы, задавали вопросы на английском и записывали ответы в свои бумаги: порт погрузки, название

корабля, место жительства, семейное положение. Слышались такие названия, как Лодзь, Триест, Берген-Бельзен, Дахау. Какой-то старик задрал рукав своей поношенной куртки, чтобы показать номер, вытатуированный на руке. Но следующий в очереди уже теснил его, проталкиваясь вперед, какая-то женщина требовала молока для младенца. Солдаты выхватили из толпы молодого мужчину и увели прочь. Это был один из матросов с их судна, которое британский эсминец взял на абордаж и отбуксировал в порт Хайфы.

Морис протянул англичанину документы. Стоя рядом с ним, Жоэль ни о чем не беспокоилась, хотя солнце жгло нещадно и очень хотелось пить. Пока мама и папа́ были рядом, никто не мог сделать ей ничего плохого. Она знала, что папа́ сильнее и лучше молодого солдата, хотя на том красивая форма, а у папа́ старый костюм. Жоэль не подозревала, что творится в душе Мориса, до чего он боится, что его раскроют, отправят обратно, арестуют.

– Мое имя – Морис Сарфати. Это моя жена, Ясмина Сарфати. И моя дочь, Жоэль Сарфати.

На итальянском – языке, на котором они говорили в семье, – о своей профессии скажут так: *Faccio il marinaio*. Я делаю, то есть изображаю матроса. Я не являюсь матросом, я не есть матрос. Я всегда могу от этого отказаться. Но про собственное имя говорят: *Sono Maurice*. Я есть Морис. Как странно, что люди идентифицируют себя через имя, которое – в отличие от профессии – они себе не выбирали. Получа-

ется, что они – идея своих родителей. А потом говорят: «Я – отец» или «Это – мой муж». Но разве не разумнее было бы говорить: *Faccio il papà, Faccio il marito*. Я изображаю отца, мужа, итальянца. Я ими не являюсь, а изображаю их, как актер на сцене. Я воплощаю представление других людей о том, что значит быть тем или иным человеком.

– Итальянец?

– Да.

– Еврей?

– Да.

– Вы являетесь членом еврейской подпольной организации?

– Нет.

Британец не поверил. Хотя это был первый правдивый ответ. Голос солдата был вымученно нейтральным, но на самом деле – враждебным. На корабле они защищались как могли. Когда эсминец подошел борт о борт, кто-то притащил на палубу ящики с консервами и люди как бешеные принялись швырять банки в британских матросов. Были раненые.

– Вы понимаете, что пытались нелегально проникнуть в страну?

На этот вопрос, внушали им в Италии люди из Моссад ле-Алия Бет⁴, обязательно надо врать – мол, они просто совер-

⁴ Моссад ле-Алия Бет – организация, занимавшаяся нелегальной иммиграцией евреев в Палестину во время Британского мандата, а после провозглашения Израиля в мае 1948 года – помощью в репатриации из стран, откуда выезд был затруднен. – *Здесь и далее примеч. перев.*

шают круиз по Средиземному морю. Но Мориц решил ответить честно. Ложь надо подавать, приправив ее правдивыми деталями.

– Да, конечно.

Узкие губы англичанина немного расслабились.

– Кто оплатил ваш переезд?

– Еврейское агентство.

Солдат записал его ответы с раздражающим безучастием. Морис старался сохранять самообладание. Он знал таких молодых ребят в тропической форме, которых послали в далекую пыльную страну, а те даже не понимали зачем. Он был одним из них. Пока не стал Морисом Сарфати.

– Где мне взять питьевую воду для жены и дочери?

Солдат продолжал писать, не взглянув на него.

– Вы не имеете права обходиться с нами как с преступниками! – вырвалось у Мориса с излишней горячностью. В тот же момент он пожалел об этом.

– Вас задержали при попытке нелегального проникновения на мандатную территорию Великобритании. Нелегальная организация, к которой вы – по вашим словам – не принадлежите, нарушает британские иммиграционные квоты. А если позволите личное замечание, то на совести ваших людей смерть моего лучшего товарища – пять дней назад бомба на куски разорвала его джип.

– Что вы подразумеваете под «вашиими людьми»?

Ненависть ослепляет, скажет потом Морис повзрослев-

шей Жоэль и напомнит про их прибытие в Хайфу. Втайне он почувствовал облегчение – британец принимал его как еврея. Враги обычно на одно лицо, а вот среди своих видишь различия. Для удачной лжи требуется отвлечь внимание, это вам скажет любой пропагандист.

– Ни у кого на этом судне нет бомбы в чемодане, – сказал Морис. – У некоторых вообще нет ничего, кроме той одежды, которая на них. И номера на руке. Да знаете ли вы, через что прошли эти люди?

– Ну конечно. Вы все невиновны. Предположим, вы и правда не член Моссада или Пальяма⁵. Предположим, я отправлю вас не обратно в Европу, а в лагерь. Но еще прежде, чем вы успеете получить свою первую порцию супа, с вами заговорит дружелюбный молодой человек. С вами и со всеми другими молодыми мужчинами. Он пообещает помочь вам выбраться из лагеря, незаконно. Есть туннели, есть охранники, которых можно подкупить... И через пару недель некоторые из вас – разумеется, не все – примкнут к террористической организации и подложат бомбу, которая убьет молодых британцев. Но конечно же, все вы – ни в чем не повинные беженцы. Вас так любят газеты.

– Послушайте, если бы я был матросом Пальяма, неужели я взял бы с собой жену и дочь? Ей всего четыре года.

– Как вы докажете, что эти люди действительно ваши род-

⁵ Пальям – военно-морские силы Пальмаха, боевых бригад, боровшихся за независимость Израиля.

ственники?

– У меня в чемодане лежит наше свидетельство о браке.

Если вы...

– Когда и где вы поженились?

– В Риме.

– Когда?

Морис почувствовал струйку пота сзади на шее. Но он не шевельнулся. Надо говорить правду. У них чемодан.

– В сорок пятом.

– И вашей дочери уже четыре года?

Самодовольство в его голосе было очевидно. Он попал Морису в самое уязвимое место. И тут Морис подался к офицеру и тихо, чтобы Жоэль не услышала, сказал:

– Ее родной отец погиб на войне.

Но надежды на сочувствие англичанина не оправдались. Тот остался вызывающе невозмутим.

– Кто погиб на войне? – спросила Жоэль.

Морис испуганно наклонился к ней:

– Многие люди погибли. Но не мы, *siamo fortunati*⁶, как и всем остальным людям, которые тут с нами. У нас все получилось.

На самом деле у них получилось не особенно много, разве что живыми переплыть Средиземное море. Лишь немногие из нелегальных судов добирались до побережья Палестины, и тогда капитаны бросали якорь, а пассажиры вплавь доби-

⁶ Нам повезло (*um.*).

рались до берега. Но большинство этих перегруженных плавающих гробов перехватывала британская береговая охрана и буксировала в порт Хайфы. А поскольку прибрежные лагеря уже давно были переполнены и палестинские арабы протестовали против еврейских иммигрантов, Великобритания построила лагерь на Кипре, куда и отправляли беженцев. Палаточные города на ничейной земле, окруженные колючей проволокой, уже не в Европе, но еще не на Ближнем Востоке. Никто не знал, сколько времени им придется там пробыть.

Полдня им было позволено смотреть на Хайфу, дома из песчаника на склоне, красные черепичные крыши и зеленые аллеи. Город словно амфитеатр, а гавань – сцена. Через открытые окна домов до них доносились звуки радио, еврейские и арабские песни, но покидать пирс было запрещено. Вечером их отвели на палубу эсминца, где раздали суп, хлеб и одеяла на ночь. И в темноте судно отчалило, взяв курс на Кипр.

Огни Земли Израильской пропали за горизонтом. Некоторые плакали, стоя у релинга. А Мориц сидел на палубе, завернувшись в одеяло, держал на руках спящую Жоэль и был в глубине души счастлив. Первый шаг сделан. Они его официально зарегистрировали. Он держал белую карточку, на которой черными чернилами было написано:

Национальность: Итальянец

Раса: Еврейская

Имя: Морис Сарфати

Глава

4

У лагеря не было истории. Не было ни города, который мог бы дать ему имя, ни горы и ни озера, лишь извилистая щебеночная дорога, которая заканчивалась посреди широкого поля перед воротами из деревянных балок и колючей проволоки. Длинный забор, пыльная земля и ни единого дерева, чтобы спрятаться от солнца. Даже таблички на воротах не было. Причина, по которой она мне все это рассказывает, не в том, что это место имеет какое-то значение, поясняет Жоэль, наоборот, Лагерь номер 60 на Кипре был местом, о котором лучше было поскорей забыть. Главное – что произошло в том месте между Морисом и Ясминой. Все, что позднее случилось на Яффской дороге, было уже предначертано в этом лагере. Словно развилки жизни бегут по невидимым, но заранее проложенным рельсам, выводя к неизбежному предназначению. Словно начало всякой любви, воспламенение в чудесные сферы, вера в добрую судьбу уже несут в себе семена конца, падения в повседневность, разочарования, предательства.

* * *

Жоэль была слишком мала, чтобы понять, от чего родители ее ограждали, и должна быть благодарна им уже за это. Хотя то, что одни посчитают защитой, другие назовут ложью. Жоэль узнала правду лишь позднее, когда Морис все рассказал ей. Она постигала мир лишь глазами других.

Итак, все дальнейшее – это воспоминание о воспоминании. Не сами события, но их восприятие взрослыми людьми, которые эти события пережили, и их детьми, которым про эти события рассказали. Память наших семей фрагментирована, части ее сокрыты – из-за ран, из-за табу или в угоду лояльности. А реконструкция никогда не заканчивается, ведь если на археологических раскопках ты вынимаешь осязаемые черепки из конкретного временного слоя, то отпечатки наших чувств беспрестанно толкуются по-новому. И каждый вспоминает все на свой лад.

* * *

Их ладони горели от раскаленного на солнце железа, за которое они цеплялись, пока их везли в кузовах грузовиков. Потом все прыгнули на пыльную землю. Десятки, сотни людей, передававших друг другу чемоданы, они потерянно сто-

яли на полуденной жаре, посреди заборов, решеток, колючей проволоки. И не могли поверить, что спаслись из лагерей смерти для того, чтобы в итоге опять оказаться в лагере. Им приказали раздеться догола и бросить все вещи в одну большую кучу. Потом пришли солдаты в газовых масках и с помпами, где было средство для дезинсекции, серый порошок, от которого волосы сваливались в колтуны, а гортань горела. Не было ни душей, ни проточной воды, лишь ежедневная автоцистерна, к которой все выстраивались в очередь со своими жестяными мисками. Ни одного каменного дома, только бараки из гофрированного железа, где спали десятки людей, вперемешку семьи и одиночки, их распределили вместе случайным образом, как кур. У них даже не было общего языка. В Лагере номер 60 раздавались немецкий и идиш, итальянский, польский, чешский и русский, немногие говорили по-английски, а иврит знали только набожные. Друг с другом объяснялись при помощи жестов. Кто-то носил старомодные костюмы, другие – сапоги и короткие штаны цвета хаки, причем даже женщины, а какие-то мужчины разгуливали по пояс голыми. Каждый, кто попадал сюда, думал лишь об одном – поскорее выбраться. Британцы сгруппировали их на этой ничейной земле, потому что никто не знал, куда их еще отправить. Британцы выдавали ежегодно пятнадцать тысяч въездных виз, но из-за моря прибывало гораздо больше народа, и никто не хотел обратно в Европу. Вопреки всему, они вывешивали среди барачных бело-синие флаги со

звездой Давида. Словно они уже были там. И словно уже существовало государство Эрец-Исраэль, Земля Израильская, которое называли так только они и никто больше. На картах всего мира страна была Палестиной, как ее именовали британцы. Но в головах прибывших мечта давно стала действительностью. Без сомнения, этот лагерь непонятно где не был местом для жизни, но был местом, где люди мечтали, днем и ночью, под безжалостным солнцем и под звездным небом. Мечтали, чтобы забыть, где они оказались, и забыть, откуда они сюда попали. Они мечтали о стране, где наконец-то будут в безопасности, о стране предков, которую возродят, став крестьянами, солдатами, учителями. А порой, когда они спали или собирались вместе по ночам, к ним в бараки приходили тени умерших. Лагерь номер 60 был местом, где ты мог спросить незнакомца о его семье, а в ответ слышал историю твоей собственной семьи. Люди, которых они любили, были мертвы. Они были одиноки. И хотели жить.

Никто и вообразить себе не мог, кем когда-то был Морис. Никто не знал, как он боялся, что это вдруг откроется. Морис и Ясмينا были самой красивой парой в лагере. Он – высокий и стройный, и она – с буйными кудрями и темными глазами, женщина, в которой непостижимым образом сплелись гордость, ранимость и сочувствие ко всем, кто слабее, к детям-сиротам и немощным старикам. Споря с солдатами, она могла вскипеть от ярости, но когда заботилась о ком-то, ее окружало тихое сияние. Трудно было определить,

где заканчивается сама Ясмина, а где начинается мир, окружающий ее – настолько она меняла все вокруг себя. Но для него существовала лишь его жена. Мориса любили и мужчины, потому что он помогал где только мог – чинил и оставившиеся часы, и сломанную крышу; даже солдаты порой обращались к нему, когда узнали, что он отлично разбирается в тонкой механике. Жоэль сопровождала его повсюду, она обожала смотреть, как его тонкие руки спокойно и точно разбирают на части радио или наручные часы, а потом собирают обратно. Когда все детали вперемешку лежали перед ним на куске ткани, разостланном на земле, только он один и хранил в голове план, как все это собрать заново. А когда за услуги люди предлагали ему пачку сигарет, продуктовые талоны или зимнее пальто, он отказывался.

* * *

Жоэль не помнит, чтобы он хоть раз на что-то жаловался. Наоборот, именно там, в лагере, Морис выглядел довольным как никогда раньше. Он понятия не имел, где и на что будет жить, но знал, к кому он теперь принадлежит. Ему была подарена семья. Незаслуженно, как он считал, все еще удивляясь, как это он занял место другого человека. Он чужаком пробрался в их мир, но не обменялся бы своей долей ни с кем на свете.

По ночам, когда шум в бараках наконец затихал, он рас-

смастривал Ясмину, лежавшую на нарах в обнимку с Жоэль. Как и всегда, она спала тихо, но беспокойно. Под черными кудрями, падавшими на лицо, было видно, как подрагивают ее веки. А Жоэль спала безмятежно, сумев раскинуться на узкой кровати, в маминых объятиях. Морис задавался вопросом, что же видит сейчас Ясмина. Эта женщина могла грезить и с открытыми глазами, да и сама словно возникла из сновидения, из прекрасного и сюрреального мира, который оставался неведом Морису.

Он влюбился не только в ее загадочную красоту. Но и в ее дикую, ранимую гордость и решимость сражаться за своего ребенка – с родителями, с соседями, со всем, что прежде защищало ее. Ради того, чтобы *самой* теперь защитить это маленькое существо, не ведавшее о скандальности своего рождения. За короткое время Ясмина превратилась в женщину, которая высоко держала голову наперекор всем сплетням за спиной, которая решительно оградила ребенка кольцом любви. И это так трогало Мориса, что он не желал ничего иного, как только навсегда быть рядом.

* * *

Он был убежден, что его место – рядом с ними, потому что так решил не он, а судьба. Он лишь отказался от борьбы и отдался потоку жизни, став другим человеком. Кем было его «я», как не борьбой с обстоятельствами? Семья Ясины

в Тунисе, укрывшая его от союзников, его свадьба в окружении незнакомых людей, плавание через Средиземное море – все это сформировало его новую личность. Иначе он был бы сейчас наверняка мертв. Или был бы немцем по имени Мориц Райнке, проживающим в Берлине после увольнения из вермахта, женатым на Фанни Райнке. Дом, садик, дети. Все то, о чем они с товарищами мечтали под чужим солнцем Северной Африки. Но теперь Морис уже не мечтал. Он был здесь, сейчас, и это больше, чем в его самых отважных мечтах. Время невидимости позади. Он вышел на свет. Оцепенение чувств позади. Он здесь. Он хочет жить.

* * *

Но, глядя на спящую жену, Морис не знал, кого она искала, едва они оказались в Лагере номер 60. Искала тайно, не сказав ему ни слова. Все вокруг мечтали о будущем, а Ясмينا не могла расстаться с прошлым. И хотя она делила с Морисом и хлеб, и голод, но мечты, как дурные, так и хорошие, были ее личным царством, куда ему нет доступа. Иногда во сне ее тело дергалось так резко, что он боялся, как бы она не упала с лежанки. Тогда он устраивался рядом и крепко обнимал ее, пока волна дрожи постепенно не угасала.

– Ненавижу море, – сказала она однажды, проснувшись. – Хорошо, что его отсюда не видно.

– Почему, мама? – спросила Жоэль. – Я люблю море!

Во время плавания на корабле Ясмина почти все время провела внизу. И это Ясмина, которая выросла на пляже Пиккола Сицилии и больше всего любила бегать босиком по горячему песку, вместе с братом. Морис понимал, почему ей ненавистно море, но смолчал. Взяв Жоэль на руки, он вынес ее наружу, чтобы отвлечь.

* * *

В точности как и предсказывал британский солдат в гавани Хайфы, в лагере действительно вскоре появился человек, который незаметно заговаривал со всеми молодыми мужчинами, в том числе с Морисом. Официально он был учителем иврита. Мускулистый и загорелый, в коротких штанах и рубашке с короткими рукавами. Он отвел Мориса в сторону, когда тот стоял в очереди к водовозу. Он может вытащить Мориса отсюда, тихо сказал мужчина, если тот присоединится к Хагане, сионистской подпольной армии. Они обо всем позаботятся, у него будет кров, еда и даже небольшое жалованье. Нам нужны такие, как ты, сказал мужчина, молодые и решительные! Ты не похож на этих понурых типов в лохмотьях, в них слишком сильна диаспора, но ты не слабак, это сразу видно, ты – один из нас. Мы никогда больше не будем жертвами, мы умеем защищаться и сами выбираем свою судьбу! Мы – это новые евреи, сильные и свободные, с нами пустыня расцветет!

Вечером, когда поляки пели песни на идише и Жоэль танцевала с другими детьми, Морис тихо рассказал Ясмине о встрече у водовоза.

– Ни за что, – ответила она.

– Но он заберет нас отсюда. Не только меня. Он пообещал квартиру для нас троих, в кибуце.

– Ты что, забыл, что ты себе обещал? Ты сказал: никаких больше войн. А теперь опять хочешь взяться за оружие?

В самом деле, Морису была глубоко противна мысль снова вставать под ружье. Разумеется, он осознавал необходимость защищаться. Но презирал слепое повиновение, отрицание чувств, эрозию гражданской морали. Тем не менее был готов еще раз переступить через себя. Не ради себя, не ради фюрера, но ради этих двух людей, за которых он был в ответе.

– Я не допущу, – тихо, но настойчиво сказала Ясмينا, – чтобы Жоэль снова потеряла отца. Я желаю жить, Морис! Я хочу увидеть мир, хочу примерять новые платья и лица. Я не хочу больше быть послушной, не хочу быть печальной вдовой, мне хочется наконец-то стать свободной! С тобой!

Морис молчал. Она взяла его за руку.

– Неужели ты не благодарен за то, что остался жив? – спросила она.

И правда, каждую минуту рядом с ней он ощущал как дар. Он выжил на войне благодаря не случаю, а человеческому решению. Если бы семья Сарфати не открыла перед ним тогда двери, не бросила бы ему спасительную веревку, его так и несло бы дальше потоком войны, пока не поглотил бы следующий водоворот. Он был благодарен родителям Ясины за все; без них сейчас не было бы ни солнца, потому что он не видел бы солнца, ни ветра, потому что он бы не чувствовал ветра. Весь этот разрушенный мир – какое невероятное счастье.

– Но нам никто не дарил эту землю, Ясмина. Нам вовсе не рады в Палестине.

– Я не верю тому, что говорят люди. Мы всегда отлично жили вместе, евреи и арабы. Мы как двоюродные братья. Если кто убивал евреев – так это *твой* народ.

– Моим народом стал теперь твой народ, – возразил он.

– Думаешь? Не так-то легко сбросить свою кожу, поверь мне, Морис. Ты и я, мы оба приемные дети, каждый по-своему. Если все хорошо, можно стать одним из них, но если дела пойдут плохо, то тебе не повезло. – Она указала на человека с аккордеоном и певца в черной шляпе: – Эти язык и музыка даже не мои, как же они могут стать твоими? Помнишь, как ты играл мне Бетховена, в доме моих родителей? Тогда я впервые почувствовала, кто ты на самом деле. Не солдат, а человек. По твоему лицу я прочитала твою душу. Ты тосковал по родине. По твоей Германии.

Это слово она произнесла совсем тихо, чтобы никто не услышал.

– Моей Германии больше нет. Да и разве у души есть национальность? Может, звучит странно, но здесь, среди этих людей, я чувствую себя дома. К тому же я не могу думать лишь о собственном благополучии.

– Тогда подумай о нашем ребенке.

К ним подбежала сияющая Жоэль, лицо у нее взмокло от пота.

– Идите танцевать со мной!

– Ты права, – сказал Морис Ясмине.

Так и было решено. Морис принимал участие в занятиях Хаганы, чтобы не казаться отщепенцем, но не поддавался на вербовку. Для британцев все называлось *physical exercise classes*, занятия физкультурой, но на деле это была боевая подготовка. Пятьдесят отжиманий под палящим солнцем, лазанье по канату, ближний бой. Как голыми руками убить напавшего. Иногда Хагана даже контрабандой ввозила оружие. Охранники закрывали на это глаза, пока все было тихо. Они чувствовали, что время их империи на исходе. И по большому счету, просто хотели домой.

* * *

Ясмине иногда уходила из лагеря. Отпуская ее, Морис не беспокоился, потому что она была вместе с другими женщи-

нами. То были американские добровольцы, которые заботились о детях, оставшихся без родителей. Таких детей забирали прямо с кораблей и привозили в небольшой полевой госпиталь, которым заведовала благотворительная медицинская организация Хадасса. У Ясины не было медицинского образования, но как дочь врача она не боялась контакта с больными, умела делать уколы и менять повязки. Медсестры Хадассы были рады любой помощи, а Ясмина относилась к этим детям с любовью, на какую способен лишь тот, кто и сам когда-то был без родителей. Каждого нового ребенка она приводила в пункт регистрации пропавших, где он должен был назвать свое имя, имена родителей и место, где последний раз их видел. Милан, Маутхаузен, Треблинка. Или название судна, которое затонуло. Многие из детей уже не помнили всего этого. Потом Ясмина проверяла списки людей в лагерях беженцев, которые искали своих детей. Очень редко, но все же иногда она находила совпадавшие имена. Вечерами она рассказывала Морису о детях. Она помнила каждое имя: Рахиль Гельблум, Лаззаро Асколи, Йосси Рабинович. Вот только одного она Морису не рассказала – о том, что в списках обитателей этого проклятого богом острова она искала еще одно имя: Виктор Сарфати.

Глава

5

Морис узнал об этом случайно. Ясмينا вместе с Жоэль были у сирот, и вдруг перед боевой подготовкой Зеэв Шомер, тренер из Хаганы, отозвал Мориса в сторону.

– Слушай, ты должен лучше присматривать за женой. Она достала уже всех. Конечно, не мое дело, но...

– О чем ты?

– Она постоянно спрашивает про какого-то мужчину.

– Про какого?

– Виктора или что-то вроде.

Это имя было как удар в живот.

– Вроде это ты на ней женат, так? – спросил Зеэв.

– Виктор – ее брат! А если хочешь все знать, то сводный брат.

– Ах вот что! А я-то подумал уже... потому что она так скрытничала... Ладно, без обид. Давай, разогрей мускулы!

– Подожди. А что она говорила про Виктора?

– Показала мне его фотографию. Симпатичный парень. Она думает, что он сейчас матрос в Пальяме. Ты его знаешь?

Морис кивнул. Зеэв понизил голос:

– Я понимаю, почему его нет ни в одном списке. Он наверняка сменил имя. Знаешь, как меня раньше звали? Влади-

мир Шуманн. Тебе бы, кстати, тоже не помешало. Морис... В этом слышна диаспора. Знаешь, как они говорят? – Зеев рассмеялся. – Мы можем забрать евреев из диаспоры, но не диаспору из евреев. Подумай об этом!

– Виктор утонул.

– Точно?

– Точно.

– Почему же она его ищет?

Морис не ответил.

– Знаешь, – серьезно сказал Зеев, – некоторые от такого свихнулись. Им надо увидеть труп, чтобы понять, что все кончено. Но люди хотят надеяться. Я встречал тех, кто потерял родителей в Треблинке. И они продолжают искать их имена во всех списках. Хочется прям надавать им пощечин, заорать: ну очнитесь же!

Он взял Мориса под руку, чтоб вернуться к остальным.

– За дело, лентяи!

У Мориса закружилась голова. Он отговорился тем, что, мол, во рту пересохло, и ушел к себе в барак, чтобы разобраться в своих мыслях. Хотя его ранила скрытность Ясины, он понимал причину: ей было стыдно. Она дала ему обещание и хотела сдержать его, но Виктор прилепился к ней как тень, как Каинова печать, как позорное пятно. Мы не одни, подумал Морис. Каждая душа на корабле несет с собой еще две, три души, всех тех мертвых, которых никто не может похоронить. Радуйтесь, сказали они, что у вас хотя бы

есть могила для вашего Виктора, *siete fortunati*, вам повезло.

* * *

Позже вернулась Ясмина, ведя за руку Жоэль, которая тут же радостно принялась рассказывать, каких новых подружек она сегодня завела.

– Прекрасно, моя милая. – Морис не решался взглянуть в глаза Ясмине, чтобы она не угадала его мыслей.

Но держать что-то в тайне от нее он не мог. Ночью, когда Жоэль уснула, он вышел с Ясминой из барака и спросил напрямую:

– Ты искала Виктора?

– Да что тебе опять в голову взбрело?

– Не обманывай меня. Никогда. Ясмина, мы должны держаться вместе.

Он крепко сжал ее руку, но не грозно, а с порывистой нежностью. Она не могла больше отпираться и призналась:

– Я пыталась, Морис, но у меня не получается. Ты говорил, что я должна его забыть, но...

– Ты не должна его забывать. Но он же умер.

– Он не умер.

– Мы оба были на его могиле в Неаполе, разве не помнишь? Мы видели его знакомого. И он рассказывал, как Виктор утонул. Когда переносил ребенка на корабль. Он не может быть жив!

– Но я вижу его каждую ночь, во сне...

– Это же просто сон, Ясмина!

– Нет! Мне снится та ночь, когда мы сели на корабль... Ты же сам видел, там в другой лодке был Виктор! У него была фуражка Пальяма.

– Нет, Ясмина. Было темно. Шел дождь. И лодка находилась от нас метрах в пятидесяти!

– Ты думаешь, я не узнаю моего собственного брата? Он мой самый близкий человек на свете!

Едва сказав эти слова, она поняла, что ранила Мориса. Ей стало жаль его. Но это была правда. И Морис это знал. В дверях барака появилась Жоэль, сонно потирая глаза, она искала родителей. Ясмина быстро подхватила ее на руки и унесла внутрь. Морис остался снаружи, в темноте, и внезапно почувствовал себя безмерно одиноким среди стрекотания цикад.

* * *

Ничто не могло поколебать и сбить с пути его жену. Ни возмущение родителей ее скандальной беременностью, ни сплетни соседей. Ни кораблекрушение, ни ожидание нового судна в Афинах. Лишь одно имело власть над ней и могло разделить ее с Морисом – призрак в ее голове. Внутреннее равновесие, с трудом обретенное ею после смерти Виктора, пришло в смятение после той ночи на берегу в Остии,

когда она поверила, что узнала в матросе своего брата. Но как мог он покоиться на кладбище и одновременно перевозить эмигрировавших евреев? За все их путешествие Морис с Ясиной поссорились один раз, единственный за все их супружество, и с тех пор она не делилась своими мыслями. Морис поверил, что все позади, но сейчас внезапно ощутил, что земля качается под его ногами, и так будет всегда, пока существует Виктор. И неважно, жив он действительно или только в голове Ясины.

* * *

– Ты все еще любишь его? – спросил Морис, вернувшись в барак.

Ясмина сидела на лежанке, уткнув лицо в ладони. Она подняла голову, долго смотрела на него и наконец ответила:

– Ты говоришь, что я не должна тебя обманывать. Конечно, я люблю его. Как могу я не любить собственного брата?

Морис сел рядом и понизил голос:

– Почему ты так держишься за него? Он сделал тебе ребенка и бросил тебя. – Он взглянул на Жоэль, мирно спящую под одеялом. – Он хотел, чтобы ты сделала аборт и избавилась от Жоэль, тебе это известно?

– Но без него, – ответила Ясмина, – она вообще не появилась бы на свет.

Морис нервно огляделся по сторонам. Через открытую

дверь ветер заносил пыль. Ясмина нежно прижалась к нему.
– Знаешь, я не простила Виктора, – произнесла она. – Я так зла на него.

Ее искренность удивила Мориса. Он видел, что она борется с собой.

– Я никого еще так не ненавидела.

Он ласково взял ее за руку:

– У него были свои причины. Если бы мой народ не причинил вам всего этого, Виктору не пришлось бы уйти в Сопротивление. Он оставил тебя, чтобы защищать свой народ.

– А если бы он не ушел, – добавила Ясмина, – ты не был бы сейчас со мной. *Мактуб*, так предначертано.

– Когда ты сможешь его простить?

Он увидел, как в ее глазах, тех самых, что могли дарить огромную любовь, разверзлась бездна. Вспыхнуло темное пламя, исток которого он был не в состоянии ни понять, ни тем более усмирить. Она способна убить, мелькнуло у него в голове. Он был рад, что это чувство вызывает другой мужчина, но одновременно ощущал собственную чуждость. Это касалось только ее и Виктора, а он оставался статистом в их истории.

* * *

С тех пор Ясмина не упоминала имени Виктора, однако это не значило, будто она его забыла. В любом браке, даже

самом лучшем, бывает конфликт, который невозможно разрешить, а можно только пережить. Потому что силы, питающие его, ускользают от сознательной воли.

– Дай мне время, – просила она. И добавляла: – *Al cuore non si comanda*⁷.

Морис понимал, что от его настойчивости она лишь замкнется в себе. Так что он упражнялся в терпении и, подобно влюбленным и дуракам, тешил себя надеждой, что время на его стороне.

Как-то вечером – Жоэль отлично помнит, что она как раз выловила последнюю осеннюю пчелу из банки с вареньем, – Морис спросил ее, хотела бы она, чтобы у нее появился братик или сестричка. Захлопав в ладоши, Жоэль воскликнула «Да!», но глядевшая на них Ясмина вовсе не радовалась.

– Только когда у нас будет квартира, – сказала она. – Здесь не место рожать ребенка.

– Как хочешь, – ответил Морис, скрыв разочарование.

* * *

Если на корабле мечтания помогали победить голод, то ожидание среди заборов изматывало людей. Одни влюблялись, другие разбивали себе головы, третьи продавали последние пожитки за пару бутылок виски. Появились саранча

⁷ Сердцу не прикажешь (*ит.*).

и комары, снег и град, лягушки и болезни; их терзали все кары египетские, но переселение в землю Ханаанскую, где текуч мед и молоко, заставляло себя ждать.

«Лучше б мы остались дома, – говорили они. – Нам обещали рай земной. Чертова страна. Чертова жратва. Чертовы комары».

Не все они прошли через концлагеря, многие могли бы жить нормальной жизнью – быть сапожником в Тессалониках, зубным врачом в Ленинграде, торговцем в Касабланке. Некоторые отправились в путь по убеждению, другие плыли по течению, боясь остаться в одиночестве. И все же ни один не видел для себя дороги обратно. Пусть даже дома их еще стояли, но разрушилось то, что скрепляет родину изнутри, – доверие. Когда убийцы вышли на улицы городов и деревень, каждый стал ближним только самому себе; предательство и равнодушие разрушили соседские, дружеские и даже семейные связи. Кто доверял ближнему, мог назавтра болтаться на виселице, а кто в это безбожное время уповал на Бога, был глупцом. Каждый научился защищать свою жизнь зубами и когтями, хоть она и не стоила ни гроша.

На праздник Песах они пекли пресный хлеб. Но пока старики читали в Пасхальной Агаде рассказ об Исходе из Египта, напоминая о завете с Богом, молодежь приникла к радиоприемнику, чтобы услышать «Голос Израиля». Да нет никакого Бога, который разделяет море и ведет свой народ через пустыню, говорили они. Нас бросили, и мы должны сами от-

воевать свою судьбу.

* * *

Одна-единственная новость по радио могла полностью перевернуть весь настрой в лагере: от летаргического сна – к возбуждению, от эйфории – к унынию. Когда от взрыва бомбы, устроенного подпольным ополчением Иргун⁸ в офицерском клубе в Иерусалиме, погибли двадцать британцев, равнодушные солдат сменилось враждебностью. Некоторые евреи собрали вещи и вернулись в Европу, другие надеялись уплыть в Америку, но у них не было денег на билет. Даже Зеэв начал сомневаться, осуществится ли когда-нибудь его мечта, – несмотря на вербовку, слишком мало евреев ехали в этот небезопасный уголок мира, чтобы составить большинство в Палестине. Многие охотнее поехали бы на Запад, но американцы все спорили про иммиграционные квоты. А британское правительство, тридцать лет назад обещавшее евреям родину в Палестине, выбившись из сил, переложило неразрешимую проблему на ООН. Организация Объединенных Наций решила направить в Палестину делегацию для выработки плана действий. Но Арабская верховная комиссия отвергла это как иностранное вмешательство, то есть

⁸ Иргун – еврейская подпольная организация, действовавшая на территории Палестины с 1931-го по 1948-й, исповедовала радикальный национализм; после создания Государства Израиль самораспустилась.

миссия изначально была обречена на провал. Казалось, никто больше не думает о беженцах на Кипре.

* * *

И тут произошло нечто, изменившее ход истории. Не мощью оружия, а силой образов. Это был списанный речной пароход «Президент Уорфильд», который Хагана выкупила и переименовала в *Exodus*, «Исход». Первоначально рассчитанный на пятьсот пассажиров, судно взяло на борт четыре тысячи пятьсот еврейских беженцев во Франции, в основном тех, кто прошел немецкие концлагеря. На глазах у всего мира оно должно было прорвать британскую блокаду и пристать к берегу в Палестине. Лагерь номер 60 следил за его передвижением по радионовостям. Британские военные суда протаранили корабль в международных водах. Переселенцы защищались изо всех сил, но когда британцы открыли огонь и убили трех человек, капитан сдался. Британцы отбуксировали ветхий корабль в порт Хайфы. Когда корабль входил в порт, пассажиры демонстративно запели «Аतिकву». Британия решила показательно проучить нелегальную иммиграцию. Вместо того чтобы отправить евреев на Кипр, они выслали все четыре тысячи пятьсот человек обратно во Францию на других кораблях. Однако беженцы отказались там сходить на берег. Они не сдавались в течение нескольких недель, без достаточного питания, в невыносимых гиги-

енических условиях, а беженцы в Лагере номер 60 объявили голодовку в знак солидарности. Газеты называли корабли «плавающим Освенцимом», президент Франции отказался силой высаживать беженцев на берег. Тогда британцы перевезли судна туда, откуда они изначально отплыли, – в Германию. В Гамбурге британские солдаты насильно и довольно грубо вынесли пассажиров на берег и интернировали в лагерь в британской оккупационной зоне. Из концлагеря – снова в немецкий лагерь, эти фотографии обошли весь мир, вызвав волну негодования. Британская армия, освободившая концентрационные лагеря, вдруг оказалась в роли преследователя преследуемых. Теперь даже в тех странах, где раньше скептически относились к сионизму, общественное мнение склонилось в пользу евреев. Вскоре, в сентябре 1947 года, комиссия ООН предложила разделить Палестину на еврейское и арабское государства. В Лагере номер 60 ликовали. До их далекой мечты было теперь рукой подать.

* * *

– А мы не можем туда сейчас переплыть? – спросила Жозель, и Морис рассмеялся.

Ясмина скинула туфли и пошла босиком по песку. Над морем висели высокие облака.

– Хочешь попробовать? – спросил Морис.

– Да!

Они разделись до белья и прыгнули в прибой. Вода была еще по-летнему теплой. Морис взял Жоэль на руки, а Ясмينا кричала от радости. Морис всегда восхищался, но никогда не понимал эту ее способность: как могла она в секунды перейти от бездонной печали к буйной радости... и обратно. Отчасти она так и осталась ребенком. Над морем заморосило, теплый дождь пробежался по их коже. Тяжелое небо окрасило воду в серый цвет, а на горизонте уже снова пробивалось солнце.

Позже они втроем лежали в заброшенной рыбацкой лодке. Под ними – разбитые доски, над ними – бесконечное небо. Морис положил руку под голову Ясмины, Жоэль вертелась в лодке. Ниточки соли медленно высыхали на ее коже. Повернувшись к Ясмине, Морис краем глаза взглянул на Жоэль, которая делала вид, что смотрит куда-то в сторону. Тогда она впервые видела, как Морис и Ясмина целовались, в губы, и до сих пор помнит, каким чудесным было для нее это мгновение. В их поцелуе не было ни стыдливости, ни поспешности, он был трещиной во времени, и сквозь нее пробивалось нечто прекрасное, из лучшего мира.

– О чем ты думаешь? – прошептал Морис, как он часто спрашивал, когда глаза Ясмины казались такими близкими и одновременно отрешенными.

Она ответила улыбкой и поцелуем, затем посмотрела на Жоэль. Встала, стряхнула с ее кожи засохший песок. А он подумал, вспоминает ли она грозные ночи своего детства,

тайные объятия в постели Виктора, первое возбуждение, которое навсегда осталось в ней.

– Мы получим квартиру, – сказал он, вставая.

Ясмина в изумлении обернулась.

– Они достанут нам фальшивые визы. Скоро мы будем в Хайфе.

– Кто это – *они*?

– Я говорил с Зеэвом. Хагана обо всем позаботится.

Ясмина замерла.

– Что ты для этого сделал? Ты вступил туда?

– Да, – ответил Морис.

На этот раз Ясмина не протестовала. Она задумалась на мгновение, затем не спеша выбралась из лодки и пошла по пляжу. Морис побежал за ней.

– Ясмина! Ты куда? – Взял ее за руку.

– Домой, – ответила она, хотя о том, где находится этот дом, она знала не больше, чем Морис.

* * *

Позже, когда они вернулись в лагерь, Морис увидел, как Ясмина вынула что-то из своего чемодана и вышла из барака. Он незаметно последовал за ней до забора, где она опустилась на колени в траву. Вскоре он увидел поднимающийся дым. Собравшись с духом, он подошел к ней. Она держала в руке остаток фотографии и смотрела на Мориса так, словно

он застал ее за чем-то запретным. Морис понял, что это была фотография Виктора, которую она взяла из Пиккола Сицилии. Ясмينا молчала, и некоторое время он просто стоял рядом, пока остаток фотографии тлел между ее пальцами, а потом упал в траву. Он не чувствовал в ней облегчения, скорее это было чувство вины. За то, что он вступил в Хагану. Должно быть, она все это время боролась с собой и наконец приняла решение.

– Иногда все же надо приказывать сердцу, – произнесла она.

– Я сделал это ради нас, – сказал он. – Чтобы у нас наконец-то был дом.

Ясмينا встала и твердо посмотрела ему в глаза:

– Ты мой муж. Вытащи нас отсюда.

Глава

6

В ясный, необычайно теплый ноябрьский день они сели на паром в Лимасоле. Прощаться с Лагерем номер 60 оказалось труднее, чем они думали. Они чувствовали себя виноватыми перед другими, все еще ждавшими виз. В воздухе висело нервное ожидание. Все обитатели лагеря собрались вокруг нескольких радиоприемников – в этот день взоры мира вновь обратились к судьбе беженцев.

Морис и Ясмينا нашли себе место среди людей на палубе и завернулись в военные одеяла, которые всем раздавали. Жоэль увидела русскую женщину в платке и другую, в шубе, которая походила на принцессу. А еще раввина, у которого был не чемодан, а свитки, завернутые в шаль. В море все разнообразие языков умолкло, один за другим их поглощал шум волн, словно серый кит, заглатывающий пестрых рыбок. Здесь, по ту сторону ограды, все было огромное: небо, море и молчание мира. Когда солнце начало крениться к западу, их мысли устремились в Нью-Йорк, где через несколько часов на заседании Генеральной Ассамблеи ООН будет решаться вопрос о будущем Палестины.

– Спи спокойно, дорогая, – сказал Морис прижавшейся к нему Жоэль, – все будет хорошо.

Никто из моряков не мог сказать им, как прошло голосование. Именно сейчас, когда мир обсуждал их судьбу, они оказались отрезаны от мира. Может быть, моряки *не хотели* ничего говорить, может быть, им *не разрешили* ничего говорить, ведь у британских офицеров на борту наверняка имелся коротковолновый приемник.

Порт Хайфы выглядел так же, как в их первое прибытие, и в то же время все казалось другим. Дома стояли, окутанные зловещей тишиной. Тогда они слышали музыку, шум рынков и улиц, а теперь город точно затаил дыхание. Паром покачивался перед пирсом, потому что не было ни одного докера, чтобы привязать швартовы. В пустом животе у Мориса тревожно заныло.

«Все закончилось плохо, – бормотали пассажиры у релинга, – иначе люди бы праздновали».

Подавленное настроение охватило всех на борту, даже Морис и Ясмينا были готовы поверить, что Палестина не будет разделена и никакого еврейского государства не возникнет. Все данные им обещания, все их надежды, казалось, погребены под этой свинцовой тишиной. Но тут одна женщина, плывшая вместе с мужем арабка из Хайфы, чья дочь подружилась в дороге с Жоэль, тихо прошептала Ясмине:

– Районы вокруг порта – арабские. Евреи живут выше, на склоне.

И в тот момент Ясмينا поняла, что молчание Хайфы – это молчание других. Что отныне ей придется выбирать между

разными идентичностями, которые еще могли сосуществовать в ее теле в Маленькой Сицилии, но, ступив на здешнюю землю, она становится либо арабкой, либо еврейкой.

Ее взгляд заскользил вверх по холму, и на полпути к вершине она и правда увидела флаг: звезда Давида на белом фоне между двумя синими линиями, как на молитвенном покрывале. А затем она увидела все новые и новые флаги, они трепыхались над домами, свисали из окон – сине-белые пятна на фасадах песочного цвета. Потом увидела танки на улицах, и в тот момент, когда она догадалась, что на самом деле произошло, это поняли и другие пассажиры. Все больше и больше рук указывало на холм. Толпа забеспокоилась, все теснились у ограждения, кто-то на идише вопросительно прокричал в сторону пирса, где наконец-то появились двое портовых рабочих, и те отозвались на иврите:

– *Techije ha medina ha ivrith!*⁹

Рабочие принялись отчаянно размахивать кепками, и в тот же миг на палубе грянуло ликование, голоса на десятках языков, сотни тел слились в общей безудержной радости. *Мазаль тов!* Матросы закинули швартовы на пирс, двое рабочих закрепили тросы на ржавых столбиках, и с каждым метром, пока корабль подтягивался к берегу, нарастала песня, и в нее вливались все языки, в эту песню на иврите, которую знали наизусть даже те, кто на иврите не говорил. Песня, которую они пели в лагерях, в поездах и на кораблях, пес-

⁹ Да здравствует еврейское государство! (*иврит*)

ня, которая однажды станет гимном их государства – «Атиква». Еврейские пассажиры, взявшись за руки, вели танец по всей палубе. Толпа увлекла и Ямину, Мориса и Жоэль. Но только Жоэль заметила, как арабка из Хайфы подхватила на руки дочь, хотевшую присоединиться к Жоэль, и спряталась за спиной мужа, словно оберегая своего ребенка. Судно вздрогнуло, ударившись о пирс. Танцоры пошатнулись и хлынули к трапу, где все передавали друг другу детей и чемоданы. Появившиеся британские солдаты пытались как-то упорядочить этот хаос.

Позже они выстроились длинной очередью, под приглядом солдат, исчезавшей на лестнице иммиграционного офиса – неприметного здания между зернохранилищами и ограждениями из колючей проволоки. В порту ничего не работало, потому что арабские рабочие и служащие объявили забастовку протеста. Толпа толкалась и пихалась, напирала и отступала, пыталась протиснуться и давила, дралась и давала сдачи. Каждый хотел показать другому, кто тут главный. Люди превратились в неуправляемую массу, и Морис схватил Ямину за руку, чтобы их не разъединили. На другой руке он держал Жоэль, крепко прижимая ее к груди. Британцы собрали паспорта и визы. Двое мужчин в длинных черных пальто спорили из-за найденной где-то газеты *Palestine Post*. Один из них гордо показывал всем карту раздела: Хайфа должна быть в еврейской части! И снова вокруг запели «Атикву». Ошалевшие британцы стали раздавать паспорта с

печатами, которые у них буквально вырывали из рук, а люди, в этот момент превращавшиеся из нелегальных беженцев в легальных иммигрантов, сбивались в новые толпы, теперь у дверей еврейских организаций, в поиске жилья, работы, денег. Потом они высыпали из здания – к воротам, в город.

В коридоре делалось все тише, пока не осталась лишь горстка людей, ожидавших возврата документов. Морис испугался. Из кабинета вышел солдат и раздал последние паспорта... всем, кроме них.

– А как же мы, сэр?

– Ждите дальнейших указаний.

Но их не последовало.

– Все будет хорошо, – сказал Морис Жоэль, сам тому не веря. Все было слишком очевидно. Конечно, они распознали подделку. – Если они отправят меня обратно, – прошептал он, – вы иммигрируете сами.

Ясмина покачала головой:

– Только вместе с тобой.

– Господин Сарфати! – В дверях показался высокий офицер. – Пожалуйста, пройдите со мной.

Морис незаметно показал Ясмине, чтобы она не ждала его, и последовал за англичанином.

– Что-то не в порядке, сэр?

Не ответив, англичанин провел его в темную комнату на другом конце коридора, рядом с офисами Еврейского агентства. Пыльные полки с выпирающими папками и маленькое,

тусклое от грязи окно – вот и все, что здесь было.

– Подождите здесь, пожалуйста.

Офицер вышел из комнаты и закрыл дверь. Морис ощутил страх. За Жоэль. За Ямину. Он ожидал чего угодно – кроме того, что произошло дальше. И даже спустя часы, месяцы, годы он все еще не знал, было ли то, что произошло дальше, лучшим или худшим в его жизни. Тихо открылась дверь, но не та, на которую он смотрел, а вторая, за спиной, между стеллажами. Вздогнув, Морис обернулся. Между ним и желтоватым проемом окна возник силуэт человека. Коренастый, короткие волосы. Одет в рубашку цвета хаки, шорты и сапоги. Не британец, мелькнуло у Мориса. Хагана или Пальмах. На краткий миг он понадеялся, что речь снова пойдет о вербовке, а не о поддельном паспорте.

– Шалом, Мориц.

Он знал этот голос. В первый момент он не смог вспомнить, кому он принадлежит, но голос вонзился прямо в сердце. Мужчина протянул ему руку. Морис замер. Затем сделал шаг назад, словно увидел злого духа. Это невозможно, подумал он. Это только мое воображение. Я сошел с ума. Мужчина взял стул, повернул его спинкой вперед и сел, небрежно положив руки на спинку. Указал ему на другой стул.

– Садись, – сказал он по-итальянски. – Как дела?

Морис почувствовал, что у него подкашиваются ноги. Он нащупал стул и сел. Перехватило дыхание. Присутствие этого человека в комнате казалось ему экзистенциальной угро-

зой. Как будто только одному из них будет позволено жить. Теперь, когда свет падал на лицо Виктора сбоку, он без сомнения узнал его. Виктор всегда был хорош собой, но сейчас он заматерел. Выглядел старше – куда старше, чем на те четыре года, что прошли с момента их последней встречи. Лицо жесткое, мощная шея, вздутые мышцы. Он мало походил на того беззаботного юношу, воспринимавшего жизнь как игру, в которой ему всегда везет. Только чуть позже Морис разглядел длинные тонкие пальцы, которые поразили его при их знакомстве, когда Виктор был пианистом, а он – немцем. А когда Виктор встал, чтобы придвинуть свой стул ближе, Морис узнал гибкие движения, увидел в глазах знакомое обаяние.

– Добро пожаловать в Эрец-Исраэль, Мориц. Или нет, *Морис*. – Он подчеркнуто удлинил последний слог, прозвучавший иронично, почти угрожающе. – Я слышал, у тебя проблемы со въездом. Могу я чем-то помочь?

Шок, почти лишивший Мориса чувств поначалу, переродился в ярость. Ему хотелось наброситься на Виктора, вцепиться ему в щеку, заорать ему прямо в лицо. Как он мог так поступить – с ним, с Ясиной и со всеми, чьи сердца он разбил. Со всеми, кто оплакивал его. Кто сходил с ума от вопроса, почему и ради чего он умер. Однако Морис смотрел на Виктора не двигаясь и мысленно переживал каждый момент их дружбы: первая встреча в отеле «Мажестик» в Тунисе, Виктор за роялем, пианист с розой на лацкане, а Мо-

риц – у стойки бара, в форме вермахта. Затем ночью в подвале отеля, когда он увидел Виктора лежащим на полу, всего в крови, и помог ему сбежать. И ужин в шаббат в доме его родителей в Маленькой Сицилии: Мориц в одежде Виктора и Виктор, который больше не желал петь шансоны, а рвался воевать с Гитлером. Но ярость уступила иному чувству, он осознал, что нет в нем ненависти к Виктору. Он встал и крепко обнял его:

– Ты жив!

– Мне жаль, Морис.

Морис хватал Виктора за руки и плечи, затем провел ладонями по его щекам, чтобы убедиться, что это не сон. Он проклинал судьбу, не только судьбу Виктора, но и собственную, потому что должен был спасти Виктора, не мог не спасти его. Мактуб, как говорит Ясмينا, так предначертано: одни мертвы, другие живы. Но на самом деле ничто не было предначертано, они просто топтались в неведении эти годы. И Ясмина была права – ее сны были правдивы, сны о том, что Виктор по-прежнему где-то рядом, среди них. Морис устыдился, что не верил ей. Первым его желанием было побежать за ней, пусть увидит Виктора, пусть ее руки ощупают его, но в следующий миг Морис замер, отпустил Виктора, он осознал весь ужас. Отсутствие Виктора было основой существования его как Мориса.

Виктор, должно быть прочитав его мысли, сказал:

– Ни слова Ясмине.

– Чего ты хочешь?

– От тебя? Ничего.

– Почему ты так поступил?

– Это не имеет никакого отношения к тебе. И в конце концов, не имеет отношения даже к Ясмине. Я нужен в другом месте. Вот и все.

– Ты знал, что мы были в лагере?

– Конечно. У нас есть списки.

– У кого это – у нас?

– У Хаганы.

– Чем ты занимаешься?

– Тебе не нужно знать.

– Ты сказал британцам, что мой паспорт поддельный?

– Они и сами это знали.

Морис чувствовал себя в ловушке. Неужели он привез Ясмину и Жоэль сюда только для того, чтобы передать их Виктору? Как мастерски он все подстроил! И снова Виктор, казалось, понял, о чем он думает.

– Не волнуйся, *mon ami*. Я улажу все с томми. Тебя не раскроют. При одном условии.

Морис решительно покачал головой:

– Я люблю Ясмину. Мы поженились.

– Я знаю. Выслушай меня. – Виктор выдержал паузу, а затем сказал: – Ты откажешься от членства в Хагане.

Морис посмотрел на него удивленно.

– Будет война, Морис. Я могу выжить, могу нет. Но я буду

бороться. А Ясмине нужен муж.

Морис уловил сарказм в последних словах.

– Твое место рядом с ней. Нашего разговора никогда не было. Я мертв. Понимаешь?

– И ты... но...

– Я хочу, чтобы моя сестра была счастлива.

– А что взамен?

Виктор засмеялся:

– Ты спас мне жизнь. Я никогда этого не забуду, Морис.

Виктор достал из кармана рубашки смятую сигаретную пачку и протянул Морису. Они закурили.

– Что тебе нужно в этом месте, Морис? Почему ты не вернешься домой?

– Германия уничтожена. Дома, люди. Здесь все нетронутое.

Виктор язвительно скривился:

– Не обманывай себя. Здесь чертова пороховая бочка. А план раздела – фитиль.

– Было бы справедливо разделить страну, – сказал Морис. – Я надеюсь, что арабы примут этот план.

– Именно этого я и боюсь.

Морис удивленно смотрел на него.

– Эта карта – просто лист бумаги, на котором несколько пердунов нацарапали свои линии. Лоскутное одеяло, но нет границ, которые мы можем защищать. Слишком много пустынных земель. Кроме того, Иерусалим должен стать меж-

дународной зоной – зачем это? А в еврейской части живет почти столько же арабов, как и евреев. Но арабы рожают больше детей. Как долго мы сумеем продержаться? Нам нужно большинство!

– Потому что сюда иммигрируют слишком мало евреев.

– Не хватает шести миллионов!

Виктор выдохнул дым. Морис молчал.

– Теперь понимаешь, почему будет война? Арабы повсюду. Они захотят сбросить нас обратно в море. Это решается только силой.

– И ты действительно хочешь рисковать своей жизнью? Она у тебя одна. Ты только что пережил войну.

– Да. А сколько тех, кто не пережил!

Виктор затушил сигарету и посмотрел на Мориса. Его утомленные от явно не первой бессонной ночи глаза лихорадочно блестели. Морис снова ощутил страх.

– Это наш шанс, Морис, наш *единственный* исторический шанс! Ты видел, куда привела нас диаспора. В газовые камеры!

Морис молчал.

– Знаешь, – сказал Виктор, – мой отец во многом ошибался. Прежде всего, он переоценивал добро в людях. Но в одном он был прав. Я *понапрасну* тратил время. Да, мне было весело, но по-настоящему жизнь начинается, когда посвящаешь ее долгу, который важнее тебя.

Морис молчал. Посвятить свою жизнь долгу – нет, нико-

гда больше. Другим людям – да.

– Я обязан этим осознанием одному немцу. – Виктор криво улыбнулся. – Если бы ты не помог мне в Тунисе, у меня сейчас была бы дырка в голове. Меня бы где-то закопали. И забыли. Когда тебе дают вторую жизнь – причем, на мой взгляд, совершенно незаслуженно, – задаешься вопросом: для чего.

– А что мне-то теперь делать? – спросил Морис.

– Работа у тебя будет, не волнуйся. Нам нужны все руки. Но не на фронте.

Морис изучал лицо Виктора в желтоватом свете. Похоже, он все продумал. Идеальный план. Морису остается лишь принять отведенную ему роль. У него не было выбора. Но что-то его беспокоило. Не то, что сказал Виктор. А то, чего он не сказал.

– Разве ты не хочешь узнать, как Жоэль?

Виктор дернулся, будто это имя швырнуло его в другую реальность. Как дезертир, которого поймали. Он встал и посмотрел на Мориса сверху вниз:

– Как она?

– Хорошо.

Вот и все. Затем Виктор достал из кармана листок.

– Я снял вам комнату. Временно, в кибуце. За городом вы будете пока в безопасности. А потом переберетесь в Хайфу. Я поставил вас в очередь.

– А ты? Ты сам где живешь?

– Нигде.

* * *

– Что такое? – вскинулась Ясмينا.

– Ничего, – ответил Морис.

Он отдал ей ее паспорт, одной рукой поднял Жоэль, другой подхватил чемодан. Солнце было уже у самого горизонта, когда они прошли мимо солдат, через решетку из колючей проволоки и ступили в затаившийся город, который их не ждал.

Глава

7

Палермо

– Отец рассказал мне все только позже, – говорит Жоэль. – Кем он был на самом деле, знала только мама. А она умела хранить секреты. Я и понятия не имела, что он не был мне родным отцом.

Смотрю на часы. Уже половина третьего. Я могла бы слушать Жоэль до утра, но она устала. Ей надо выговориться о прошлом, и все же это слишком волнует ее. Она судорожно ищет сигареты, но пачка пуста. Лицо ее выглядит прозрачным. Я понимаю, что надо закругляться с беседами. Отправляюсь на поиски одеял. Ни Жоэль, ни я не решаемся устроиться в его постели. Я заглядываю в спальню, там пахнет им, как будто он все еще там. Станный запах, приятный, но незнакомый. В старом шкафу в прихожей нахожу шерстяные одеяла. От них тянет затхлостью, но выглядят они чистыми. Мы ложимся на диван.

Днем дом был тих, а ночью ожил. Уличный шум стих, зато теперь оглушают цикады, слышно, как поскрипывают деревянные перекрытия и единственная ставня, которая то от-

крывается, то закрывается на верхнем этаже. В саду шеле-
стят пальмы. Словно мой дед уехал в спешке, не подготовив
дом для зимы. Словно забыл закрыть дверь за собой. С под-
оконника на нас таращится круглыми глазами кошка. Что
кажется важным человеку перед самоубийством? Думает ли
он, что надо навести порядок в своем наследстве? Или ему
безразлично все, что случится потом?

– Это на него похоже, – говорит Жоэль. – Он как вор тихо
выскользнул из этой жизни, как выскользнул из двух преды-
дущих. Не прощаясь.

* * *

Не могу заснуть, несмотря на усталость, чувствую себя
как при джетлаге – перенеслась в чужой мир, будучи к это-
му совсем не готовой. Защитный слой, отделяющий нуж-
ные мысли от нежелательных, истончился, сделался прони-
цаем. Теряя привычный мир, я снова становлюсь ребенком.
И неожиданно дают о себе знать старые раны.

Непроизвольно представляю бабушку: как она пеленает
ребенка в маленькой и сырой берлинской квартире, ждет его
возвращения. Что бы она почувствовала, если бы увидела,
как ее Мориц сходит с корабля в Хайфе с новой семьей? Ее
дом лежал в руинах, уцелел только подвал. Но не уцелело
главное – ее внутренний дом. Старый порядок: отец, мать,
ребенок. Она даже не получила вдовью пенсию, потому что

была только помолвлена с дедушкой. Все, что определило ее жизнь, произошло в последний отпуск Морица осенью 1942 года: помолвка в Ванзее, его обещание пережить войну, ночь, когда была зачата моя мама. Она расплачивалась за это всю оставшуюся жизнь. Выбивалась из сил, работая в гладильне, чтобы в одиночку растить дочь, никогда не ездила в отпуск, угодив в ловушку своей несовременной протестантской твердости. Не хотела никакого второго шанса. Сколько я себя помню, в ее квартире всегда было на несколько градусов прохладнее, чем у нас, а когда мама жаловалась, то слышала в ответ, мол, надо радоваться, что есть крыша над головой.

Я рано вышла замуж, и в моем доме всегда должно быть тепло. Безопасно. И красиво. Я декоратор-фетишист. Часами выискиваю мебель на блошинных рынках и в интернете. У каждой картины, каждой вазы, каждой лампы есть своя история и свое место. Но я никогда не трачу деньги зря. Я очень жестко копила, чтобы купить квартиру на паях с моим бывшим. Эта постоянная боязнь, что из съемной квартиры могут выселить. Нет, земля под ногами должна принадлежать мне. Мой бывший муж думал так же, хотя его семья была весьма состоятельной. Никакой аренды, только покупка. Так что, объединив наши невроты и наши деньги, мы переехали в старинный дом в Шарлоттенбурге. Оттуда уже никто не мог нас выгнать. Кроме нас самих. Когда брак распался, я сидела одна в больших комнатах, и не было никакой пользы от то-

го, что половина стен принадлежит мне. Я снова чувствовала себя перепуганной, беззащитной и беспомощной. Совсем как та маленькая девочка, которой снова приходится пережить, потому что мама в очередной раз рассталась с мужчиной. Но моя мать и мужчины – это уже другая, возможно, еще более занимательная история.

* * *

Солнце встает раньше, чем я засыпаю. В саду взволнованно щебечут птицы. Позже, в ванной, опять охватывает это чувство – словно я вторглась сюда без спроса. Я стою голая перед его зеркалом, уже тронутым временем по краям, и ищу следы Морица на своем лице. Мои глаза светлее, чем у него, но взгляд – как у него на фотографиях. Внимательный, чуть скептический, но не безучастный. Мне хотелось бы стать невидимой, не оставлять следов, но вдруг я ловлю себя на том, что нюхаю его полотенце, прежде чем вытереться. Теперь мой запах ложится поверх его запаха, который скоро и вовсе пропадет. Внутреннее беспокойство побуждает меня поторопиться: я должна собрать воедино его образ во мне, пока время не стерло все следы.



Палермо, город куполов и пальм. Когда мы выходим из автобуса в центре, я узнаю все, что так люблю в этом городе. Изобильная красота, отданная во власть разрушения. Если Нью-Йорк – это город, который никогда не спит, то Палермо – город, который никогда не пробуждается полностью от своего сна. Потому что он знает, что за видимым миром скрывается другой. Старше, благороднее – возможно, лучше. В Палермо не бывает «или – или», здесь все существует одновременно, как во сне, и повсюду знаки. Здесь нет совпадений, только связи. Ты видишь настоящее и прошлое в одно мгновение, но никогда – будущее. Палермо, город финикийцев, римлян, арабов и норманнов. Палермо, никогда не бывший полностью итальянским, но всегда – сицилийский, находится на краю Европы, но в центре Средиземноморья. Палермо, мэр которого заявил: «В этом городе нет иммигрантов. Мы все палермитанцы». Пустые карманы и открытые объятия. Однажды я приехала сюда и поняла, что хочу стать археологом. Этот город подправляет твою перспективу; он всегда старше и многоопытнее своих жителей. У него щедрое сердце, но он открывает свои секреты только тем, кто окажется достоин этого.

– Хочу быть с вами честен, – говорит Каталано.

Когда кто-то начинает разговор подобным образом, это обычно ничего хорошего не сулит. Или же человек лжет. Мы с Жоэль сидим перед его столом, таким же старым и массивным, как и все в комнате. В нескольких шагах от шумной улицы Виа Рома с ее обувными магазинами мы попали в другой мир: палаццо эпохи Отточенто ¹⁰ с высокими, украшенными фресками потолками, тяжелыми дверями и рубиново-красными стенами. Старые деньги. Юридические фирмы, финансовые услуги и нотариальная контора Бруно Каталано. Он берет поднос из рук секретарши, дожидается, пока она закроет дверь, и сам подает нам кофе. Мы с Жоэль стараемся скрыть напряжение. Странно, думаю я, она мне как сестра или мать, я открывала ей мои самые сокровенные чувства, но в момент, когда делится наследство, ни одной не приходит в голову сказать: неважно, что написано в этом завещании, мы поделим все по справедливости. В любви нет справедливости, а ведь именно в этом вся суть: мы сейчас узнаем, кого он любил больше. Материальное как выражение того, кто оказался для него более ценным в ретроспективе его жизни.

¹⁰ Период в искусстве Италии первой половины XIX века.

Каталано нервно поглядывает на часы. Пять минут десятиго.

– Вообще-то он сам хотел сказать вам...

– Кто?

– Элиас Бишара. Вы с ним вчера познакомились.

Каталано набирает что-то на телефоне. Кожаный чехол с инициалами.

– Вчера возникло... некоторое осложнение.

Каталано читает поступившее сообщение и нервно потирает бритый подбородок. Синьор Бишара вот-вот придет, пять минут, вам кофе с сахаром?

– Какое осложнение?

– Мы с вами можем пока заняться формальностями... даже если это...

Он пытается выиграть время. Ему не важны наши паспорта, протокол встречи, проверка дат рождения. Он лишь пытается нас отвлечь. Жоэль произносит то, о чем я думаю:

– Он что-то оставил своему врачу?

Каталано листает документы, затем поднимает глаза и поправляет очки в коричневой оправе.

– Да, – сухо отвечает он и быстро добавляет: – Если позволите, то как друг семьи я бы сказал, что Элиас – больше чем просто врач. Он всегда был рядом с ним, днем и ночью.

Что-то в манере, в том, как он это произносит, мне не нравится.

– Хорошо, не проблема, – говорит Жоэль.

– Я рад, что вы так считаете. По закону я обязан зачитать вам его завещание. Но я также обязан сказать вам... – Он делает паузу, оценивая нашу реакцию. – Он оставил *не одно* завещание.

– Как это?

– Синьор Райнке оставил мне так называемое *testamento segreto*¹¹. Это означает, что содержание было известно только ему. На следующий день после его смерти я, как и полагается, вскрыл этот документ. – Он смотрит на меня. – Там содержался изначальный текст завещания, в котором, помимо синьоры Сарфати, в качестве наследницы указана и ваша мать. Госпожа Анита Циммерманн, верно?

– Да.

– И также... дополнение, которое постановляет, что доля наследства вашей матери в случае ее смерти переходит к вам, его внучке.

Он ожидает, что я обрадуюсь. Но я чувствую укол в сердце. Слишком поздно, думаю я. Ничто не осчастливило бы маму сильнее, чем известие о том, что отец думал о ней. И дело не в наследстве. А в том, что этим он признавал ее своей дочерью. Хотя они никогда не встречались, у нее была история, которая их связывала. И если бы мама узнала, что и у него имелась история, связывающая их, – она обрела бы покой, которого у нее никогда не было. Жоэль чувствует, что мне не по себе.

¹¹ Тайная воля (*ut.*).

– Я рада, что он вписал тебя.

Слова Жоэль не успокаивают, дело не во мне, а в маминой тоске по своему отцу. В ее вере, что он жив, вопреки всему, вопреки собственной матери, объявившей его мертвым. Может быть, она всю жизнь искала его во всех мужчинах, что приходили и уходили, но это уже другая история.

– После смерти матери Нина в любом случае стала бы ее наследницей, – говорит Жоэль. – Все это вообще не проблема.

В этот момент открывается дверь и входит Элиас Бишара. Льянной пиджак поверх мятой рубашки. Воротник перекошен, словно он одевался наспех. Он явно нервничает и здоровается с нами вежливо, но скованно.

– Что ж, перейдем к оглашению приговора, – пытается разрядить обстановку Жоэль.

Бишара садится с краю, как незваный гость. У него странная манера не-смотреть на меня. Сначала он избегает встречаться со мной глазами, а затем, на краткий миг, его взгляд неожиданно словно пронзает меня. Я все время представляю, как он разговаривал с моим дедушкой, щупал его пульс; вернее, я пытаюсь это представить, но не могу уместить их обоих в одной картинке. О Морице он говорит с уважением, почти с нежностью, но в то же время в его тоне есть странная суровость, неприятие, которое я объясняю тем, что между ними что-то произошло. Такие обиды бывают только у людей, близких друг другу. Откашлявшись, Каталано взгляды-

вает на Бишару, который нервно кивает.

– Вчера, – говорит Каталано, – обнаружилось *еще одно* завещание.

Я изумлена.

– Это завещание написано от руки. Мы нашли его в письменном столе.

Похоже, Каталано чувствует себя не в своей тарелке. Он заставляет себя продолжить:

– По первоначальному завещанию вы трое являетесь равноправными наследниками...

Невероятно. *Трое? Равноправные наследники?* Бишаре, похоже, это уже известно.

– Но в рукописном завещании синьор Райнке распорядился, чтобы все его имущество досталось одному человеку.

Он делает эффектную паузу, как аукционист перед последним ударом молотка.

– Синьору Элиасу Бишаре.

У меня перехватывает дыхание. Бишара проводит рукой по лицу – очевидно, он вовсе не рад. Жоэль первой приходит в себя.

– Где документ?

Каталано передает нам небольшую сложенную бумагу. Вырванный из блокнота лист в линейку, на котором торопливо написано синими чернилами. Жоэль быстро пробегает глазами:

Моя последняя воля

Данным завещанием я отменяю все ранее составленные распоряжения. Я, Мориц Райнке, назначаю единственным наследником синьора Элиаса Бишару.

– И какое завещание теперь действительно?

– Согласно закону, самое последнее, – объясняет Каталано. – Видите дату? Семнадцатое апреля этого года. Это было за день до его смерти, которая, вероятно, наступила после полуночи.

– Это не его почерк, – возражает Жоэль.

– Почерк, синьора, меняется на протяжении всей жизни. Когда вы в последний раз видели рукописный документ вашего отца?

– Послушайте, месье. Я знаю моего отца! Он бы никогда не застрелился! И почему он меняет свое завещание прямо перед смертью? Лишает наследства своих дочерей и переписывает все на врача? *C'est impossible!*

– Как нотариус, я обязан только хранить документы, но у меня нет полномочий принимать решение о наследстве. Если вы хотите его оспорить, надо обращаться в суд по завещаниям.

– А где первое завещание? – спрашиваю я.

– Пожалуйста, можете ознакомиться.

Он протягивает мне папку с документами. Бишара рывком встает:

– Я еще даже не знаю, согласен ли я принять наследство.

Он выскальзывает из комнаты, не прощаясь, – как тень.

Никто не успевает сказать ему ни слова, никто не останавливает его.

Затем я открываю папку. Похожий почерк, хотя более спокойный и аккуратный. Документ снова начинается с заголовка «Моя последняя воля», но далее следует подробный перечень имущества: портфель акций, три счета в Банке Сицилии, квартира во Франкфурте, дом в Палермо, три автомобиля и кошка по кличке Минуш.

– Читай вслух, – просит Жоэль.

Наследниками я назначаю в равных долях:

мою дочь Аниту Циммерманн, мою дочь Жоэль Сарфати и моего сына Элиаса Бишару.

Слова застревают в горле. Я передаю завещание Жоэль. Она тоже прочитывает вслух текст и это единственное слово, которое переворачивает все.

Он не похож на него, думаю я. У него другая фамилия. Он ничего не сказал нам. Жоэль потрясенно смотрит на меня. Каталано беспокойно ерзает на стуле.

– Бишара? – спрашиваю я. – Это имя его матери?

– Вам лучше спросить об этом у Элиаса.

– Морис снова женился? – напирает Жоэль. – Почему в завещании нет имени его матери? Она еще жива?

– *Mi dispiace*¹², синьора, не в моем праве давать такую информацию.

Я передаю ему папку. Каталано задумчиво взвешивает ее

¹² Сожалею (*ит.*).

в руке, как бы прикидывая ценность наследства и духовный груз, который на нем лежит.

– Особенностью этого документа, если позволите мне комментарий, является отсутствие объяснения, как делится наследство на три части. Согласно итальянскому законодательству наследодатель должен указать, какое имущество переходит к какому наследнику. Чтобы избежать споров. Но он оставил этот вопрос открытым.

Старик хотел, чтобы мы встретились, думаю я. Но только после его смерти. Как умно. И как трусливо. Но тогда почему он изменил свое решение прямо перед смертью?

* * *

Ошеломленные, мы выходим на улицу. Солнечный свет ослепляет. Жоэль дрожащими руками прикуривает. Похоже, мы в очередной раз потеряли его; стоим как сироты, потерянные, изгои. Прохожие, скутеры, машины проносятся мимо – жизнь для всех продолжается, только нас время забыло.

– Если рассуждать трезво, Жоэль, то мы ничего не потеряли. У нас и раньше ничего не было.

– Неужели ты думаешь, что я так легко сдамся? Это возмутительно! Ты видела, как эти двое... да они в сговоре! Наверняка он дал нотариусу жирный куш за его помощь. Его сын? Он совсем на него не похож!

– Думаешь, почерк подделан?

– Да вся его жизнь – поддельная!

В этот момент я замечаю Бишару. Прислонившись к светофору на другой стороне перекрестка, он курит, опустив голову, он то ли в печали, то ли выжидает, как животное в засаде, я не могу понять. Над ним мигает желтым светофор, явно сломан, но регулировщика нигде не видно. Бишара ждет нас, думаю я, а потом мне кажется другое – он избегает нас. Я жестом предлагаю Жоэль подойти к нему, но она отворачивается. Что-то внутри подсказывает мне, что нужно подойти, и я перехожу улицу, даже не додумав эту мысль. Он позволяет мне приблизиться, с места не двигается, но и не смотрит на меня. Я останавливаюсь перед ним, и мы молчим среди уличного шума, избегая смотреть друг на друга. Он предлагает мне сигарету. Я отказываюсь.

– Германия, да? – говорит он. – А откуда?

– Берлин.

Можно спросить, откуда он, но интуиция советует мне сдержаться. От него не исходит враждебности; борьба творится внутри него.

– Почему вы не сказали, что вы его сын?

– Вы не спрашивали.

– Почему у вас разные фамилии?

– Фамилии не выбирают.

Бишара, по-моему, звучит не по-итальянски. Скорее по-арабски. По его внешности не понять. Он может быть родом откуда-нибудь из Средиземноморья.

– Мориц был с твоей матерью?

Он кивает и смотрит вниз по улице.

– Она из Палермо?

– Нет. Из Яффы.

– Яффы, что в Израиле?

Он затягивается сигаретой, бросая взгляд на Жоэль. Затем выбрасывает сигарету и косится на меня.

– Яффы, что в Палестине.

Глава

8

Я не хочу его видеть. Я хочу помнить его таким, каким он выглядел на фотографиях моего детства: молодой парень, с надеждой смотрящий вдаль. Бишара приподнимает белую ткань, но я стою в стороне, пытаюсь по его лицу понять, какие чувства он испытывает к Морицу. В неоновом свете отделения патологии черты его кажутся еще жестче обычного, еще более непроницаемыми. Он не потрясен – очевидно, врачебная закалка, можно даже подумать, что этот труп для него лишь один из многих. Жоэль с приглушенным вскриком прижимает ко рту ладонь. Для нее это двойной шок: она видит отца мертвым и одновременно на десятилетия постаревшим. Она смотрит на него не отрываясь, потом стискивает кулаки и плачет. Бишара растерянно смотрит в сторону – похоже, ему не по себе от того, что эта незнакомая женщина испытывает при виде его отца столь сильные чувства, гораздо более сильные, чем он сам. А может, он просто лучше контролирует себя? Он мог бы обнять Жоэль, но не делает этого. Что это, недостаток сочувствия или почтительность – не знаю. Но я ощущаю, что мне лучше оставить Жоэль наедине с ее чувствами, потому что я не могу оценить глубину пропасти, которая открылась перед ней сейчас. Когда братья

и сестры обнимают друг друга после смерти родителей, их объединяет общая история: один дом, один сад, раны, которые они нанесли друг другу, но и любовь, которая тем не менее удерживала всех вместе. Но здесь, в холодном неоновом свете, каждый скорбит в одиночку. И при этой мысли я вдруг осознаю, что по моим щекам тоже текут слезы, но оплакиваю я не его, а свою мать. Я бы многое отдала за то, чтобы мама смогла встретиться со своим отцом. Ее жизнь была лодкой, у которой оборвался швартов, и она дрейфовала в море, так и не пристав никогда больше к берегу.

* * *

– Когда мы сможем его похоронить? – спрашивает Жоэль у патологоанатома.

Все это время она избегает смотреть на Бишару, он так и не произнес ни слова.

– Полиция еще не позволяет выдать тело.

– Будет вскрытие?

– Насколько я знаю, нет.

– А почему нет?

– Причиной смерти, несомненно, является выстрел, синьора. Входное отверстие во рту, выходное – на затылке.

– Но на курок мог нажать и кто-то другой?

– Я не могу судить об этом. Вам надо говорить об этом со следователями, синьора.

– Дайте мне номер уголовного розыска.

Патологоанатом взглядом призывает на помощь Бишару, тот стоит, скрестив руки.

– Они и сами придут к вам, – говорит Бишара и добавляет с едва угадываемым сарказмом: – Все мы подозреваемые.

– У нас с Ниной не было мотива убивать его, – возражает Жоэль. – Он же не *в нашу пользу* изменил завещание.

Ее тон – намеренная провокация. Бишара явно готов сорваться, но с трудом все же сдерживает себя.

– Возвращайтесь домой, синьора.

– Я никуда не уеду.

– Тогда вам стоит поискать гостиницу.

– Вы не сможете выгнать меня из дома моего отца. Пойдем, Нина. – На ходу она оборачивается: – И, кстати, я настаиваю на еврейских похоронах.

Бишара отвечает саркастическим взглядом.

– А как он распорядился? – спрашиваю я его.

– Никак.

* * *

Войну быстрее объявить, чем выиграть. Смерть возбуждает жадность. Человеку хочется заполучить умершего только для себя и не делиться им – собственная боль так велика, что не признает чужих потерь. Меня горе заставляет молчать, а Жоэль оно наполняет яростью. На Бишару, которого

она подозревает в самых чудовищных вещах, но также и на отца, на его предательство и его молчание. *Он не мог покончить с собой, я его знаю!* Она повторяет это как мантру, все более и более настойчиво, так что мне кажется, на самом деле она хочет сказать: *Он не может быть мертв!*

Она рывком открывает решетчатые ворота виллы и идет к гаражу. Поднимает желтую оградительную ленту и бьется в дверь. Помоги, зовет она меня, мы можем потом поплакать, а сейчас надо найти следы, пока кто-нибудь их не уничтожил! Им это не сойдет с рук! Мы поднимаем старые шторные ворота и вглядываемся в полумрак. Бок о бок стоят три старых «ситроена», на лаковом покрытии пыль, номерной знак только у одной машины. Кажется, что они спят и видят сны о других временах. Самый старый и совсем развалившийся, заросший паутиной автомобиль, возможно, пережил Вторую мировую войну. Второй, черный и изъеденный ржавчиной, с акульей пастью, кажется, появился из фильмов «новой волны» с Жанной Моро, джазом и бесконечными сигаретами. Третий, коричневый металлик, плоский, выглядит как футуристическая мечта семидесятых. Каждый хранит свои секреты. Мне хотелось бы иметь карту, где прочерчены маршруты Мориса, услышать музыку, игравшую в его радиоле, и разговоры, которые он вел с его женщинами.

– Невероятно, – говорит Жоэль, подходя к средней машине, той, что с бампером как акуляя пасть. Она проводит пальцем по потускневшему хрому над слепыми стеклами и

открывает заднюю дверь. – Тут я сидела в детстве!

– Прямо в этой машине?

– Точно здесь! Этот синий велюр! Он пахнет как и тогда!

Жоэль забирается внутрь. Я открываю водительскую дверь. И тут вижу это. Засохшая кровь на водительском сиденье. Жоэль наклоняется вперед и тоже смотрит на пятна.

– *Mon dieu!*¹³

Отступаю на шаг... и только тогда замечаю дыру в крыше. Мои пальцы касаются острых зазубрин, которые пуля оставила в металле, пробив *его* череп. В голове возникает гул. Чувствую, что задыхаюсь, и быстро выхожу на воздух. Потом, обернувшись, вижу, что Жоэль никак не может остановиться, все осматривается, что-то ищет, хотя полиция давно проделала всю работу.

– И что там? – спрашиваю.

Она не отвечает.

В этот момент мне приходит в голову, что ключ к тайне его смерти вовсе не там, где он умер. А там, где он жил. А ключ к жизни мужчины – его женщины.

– Жоэль, выходи наконец.

Из гаража доносится глухой стук, затем лязг, как будто ящик с инструментами упал на бетонный пол, затем тишина. Я бегу к Жоэль, которая лежит на земле рядом с машиной, прижав руку ко лбу. Лицо в крови. При моем появлении она начинает плакать и извиняться, словно нельзя пока-

¹³ Боже мой! (*фр.*)

зывать слабость, даже если ты и вправду беспомощен. Я веду ее в дом, укладываю на диван, нахожу алкоголь и промываю рану. Через некоторое время ее дыхание успокаивается. Мне приятно быть рядом, помогать ей. Напоминает мне о последних неделях, проведенных с матерью. Чем больше рушились ее защитные стены, чем больше она позволяла увидеть свою беспомощность, тем ближе мы становились друг другу – возможно, ближе, чем когда-либо прежде. Она стала ребенком, я стала матерью, и так же происходит сейчас; я держу руку Жоэль и чувствую ее тихую благодарность.

– А он красивый, – неожиданно говорит она.

– Кто?

– Его сын.

Она улыбается озорно и немного потерянно.

– Честно говоря, Жоэль, я не думаю, что он убил его.

– Не верь всему, что думаешь, *chérie*¹⁴.

– Да и зачем ему? Из-за виллы? Он явно не такой.

– Дорогая, ты и раньше ошибалась в мужчинах.

– Как и ты. Твой отец. Он и абу Элиаса.

Она криво усмехается и достает сигареты.

– Может, он сделал это не ради виллы. Но он явно что-то скрывает.

– Ты знаешь что-нибудь о его матери? Была ли в вашей жизни женщина по фамилии Бишара?

– Нет.

¹⁴ Милая (*фр.*).

– Постарайся вспомнить.

Жоэль закрывает глаза, и я не знаю, пытается ли она оживить воспоминания или же убежать от них. Память – не архив, она капризна, избирательна и неуловима. Она не только связывает нас с прошлым, но и защищает от него. И если хочешь знать всю правду, не доверяй своей памяти, а ищи себя в памяти других.

Глава 9

Мы видим вещи не такими, какие они есть.

Мы видим вещи такими, какие мы есть.

Анаис Нин

Хайфа

– Не было никаких арабов, – говорит Жоэль. – По крайней мере, мы их не видели. Несколько дней мы провели в приюте для иммигрантов, как-то ночью слышали выстрелы, а потом приехал автобус и отвез нас в кибуц. Там мы прожили всю зиму, а когда вернулись в Хайфу, арабов уже не было.

– Куда они делись? – спрашиваю я.

– Была война.

– А где был Мориц на этой войне?

– На стороне Ясмину. Он сдержал обещание.

– А Виктор?

– В тот момент, когда Ясмину ступила на новую землю, она решила, что Виктор умер.

Воспоминания Жоэль о кибуце – это самозабвенные блуждания по полям, среди дикого инжира и кактусов. Син-белый флаг на лугу и «Атиква» каждое утро. Скучно обставленный класс, короткая стрижка учительницы иврита и частые дожди. Слякоть снаружи, а внутри сырость и сломанные газовые печки в общей спальне, ноги никогда не высыхали. Шалости местных детей, тех, что уже родились здесь, и мама, которая внушает:

– Мы не арабы, мы итальянцы! Если кто-то спросит тебя, откуда ты родом, никогда не говори, что из Туниса. Говори, что мы из Рима. Это даже не ложь, потому что мы были там в лагере и потом сели на корабль, помнишь?

– Почему?

– Все любят итальянцев. Никто не любит арабов.

Как и на Кипре, здесь существовала своя иерархия. Сабры, пионеры, родившиеся на территории Израиля, были важнее выходцев из диаспоры. Сабры более мускулисты и более уверены в себе. «Ты приехал по убеждению или ты приехал из Германии?» – спрашивали они. И даже если Жоэль говорила, что она из Италии, дети в кибуце называли ее просто «йекке»¹⁵.

¹⁵ Немецкие евреи.

Солнце только встало, а девочки уже носятся в платьях с коротким рукавом, а мальчики – по пояс голые, соревнуются, кто быстрее загорит, чтобы стать как пионеры на плакатах: лопата на плече, рабочая кепка и короткие белые штаны. Ясмина нашла работу в детском саду и еще помогала в поле. Морису, чьи руки не годились для грубой работы, плуга или лопаты, поначалу пришлось трудно. Чему ты учился, спрашивали они. Я умею фотографировать, отвечал он. Но фотограф здесь никому не требовался. Фотографии должны хранить память о прошлом. А здесь прошлое не имело никакой ценности. Даже настоящее было лишь мостиком в будущее.

– Я могу ремонтировать вещи, – говорил он.

– Какие вещи?

– Часы, радиоприемники, фотоаппараты.

– А трактор тоже сможешь починить?

Если Морис разбирал дизельный двигатель, то полировал детали столь бережно, будто то были шестеренки наручных часов. И пусть в том не было необходимости, но он очищал любой мельчайший винтик, прежде чем собрать все обратно. Кибуцники поторапливали его. Считали, что он теряет время. Для сионистских пионеров скорость была превыше совершенства, всё – лишь средство для достижения цели. Для Мориса, однако, смысл ремонта крылся в самом процессе. Ему доставляло удовольствие восстанавливать вещи в их первоначальном виде, какими они были в те времена, когда

мир еще не разрушился. *Tikun olam*, называл это отец Ясины, ежедневное исправление мира.

– Ты похож на него, – говорила Ясина. – Руки медленные, а глаза быстрые.

Когда-то отец Ясины извлек пулю из ноги Мориса без наркоза, потому что в доме не было морфия.

– Без твоего отца, – сказал Морис, – меня бы здесь не было. Он подлатал мне не только тело, но и мою душу.

Иногда Морис ездил на грузовике в Хайфу, отвозил на рынок картофель, молоко и яйца, а возвращался с тяжелыми деревянными ящиками, которые забирал в порту. Когда Жоэль любопытствовала, что это он привез, он отвечал: детали для двигателя. Однажды ночью Жоэль наблюдала через окно, как он и другие мужчины перетаскивают груз в классную комнату. На следующее утро ящики исчезли, но прошел слух, будто где-то внизу, прямо под ногами, находится тайник с оружием. И когда однажды утром британские солдаты въехали на площадь на своих джипах и грузовиках и обыскали все вокруг, родители строго-настрого приказали детям помалкивать. Жоэль сдержала слово, как и остальные дети. Когда солдаты уехали ни с чем, все были очень горды собой, и сабры, и йекке.

Встречался ли Морис тайно с Виктором во время своих поездок в Хайфу? Жоэль этого не знает. О Войне за независимость он рассказывал меньше, чем о любом другом периоде своей жизни, даже спустя десятилетия. Жоэль уверена,

что он помогал, – все тогда помогали, – но выполнял лишь ту роль, которую ему отвел Виктор. Наверняка он был счастлив, что не должен брать в руки оружие и может проводить каждую ночь с семьей, – не для того он дезертировал, чтобы вскоре оказаться на следующей войне. Хотели того иммигранты или нет, но они были частью этой войны. Чтобы жить здесь, следовало бороться. Ты не мог остаться в стороне – ступив на портовую набережную, они примкнули к одной из сторон. Никто не мог скрыться – гражданская война была повсюду. Британцы все еще управляли страной, арабские государства еще не напали, и все же повсюду таилась опасность. Каждый вечер кибуцники собирались вместе в столовой и слушали по радио новости Хаганы. Когда раздавалась характерная насвистывающая мелодия, все моментально замолкали. И диктор сообщал о нападениях арабских бойцов на еврейские поселения и о победах еврейской подпольной армии. Так Жоэль выучила географию новой родины, по названиям мест, попадавших под удар. Йехиам, Тират-Цви, Магдиэль. Пустыня Негев, плодородная Галилея и священный Йерушалаим. «Фронт – это вся страна, – звучало из маленького радиоприемника. – Каждый мужчина – солдат! Не сдадим ни одного поселения! Наше секретное оружие называется: иного выбора нет!» Почему они нас ненавидят? – спросила Жоэль. Потому что мы евреи, ответили дети-сабры. Мы купили этот кусок земли. Мы хотели жить в мире. Но они нападают на нас. Мы должны защищаться.

Однажды Морис взял Ямину и Жоэль в Хайфу, на рынок. Машина гроыхала по дороге у горы Кармель, как вдруг они наткнулись на блокпост. Перевернулся автобус. Вокруг суетились британские солдаты. Когда они медленно проезжали мимо обломков, через грязное боковое окно Жоэль впервые в жизни увидела мертвого человека. Мужчина лежал на асфальте, кто-то накрыл его лицо тканью, вокруг головы растеклась лужа крови. Жоэль испугалась, как ее было много и какая она темная, почти черная. Потом Ямина закрыла ей глаза, и она слышала только крики мужчин. Она так и не знает, кто был тот погибший, помнит только, что Морис запретил Ямине в тот день садиться в автобус или заходить в соседнюю арабскую деревню. И больше никогда не возил их в Хайфу. Слишком опасно, сказал он, город в огне.

Мир Жоэль сжался до защищенного холма, и от кибуца в ее памяти осталась смесь противоречивых чувств – страх перед неопределенной, таящейся вокруг угрозой и радость, когда она пела с детьми сионистские песни, гимны во славу земли, предков, Иерусалима. Хотя она не понимала многих слов на иврите, ей нравилось их звучание. Иногда, проснувшись ночью и пробираясь босиком в темноте к туалету, она тихонько напевала, чтобы прогнать страх.



Потом весна рассыпала по равнине красные анемоны, и Морис сказал Жоэль: «У нас будет квартира. Только для нас». Они упаковали свои немногочисленные пожитки в чемодан и сели на автобус до Хайфы. На полях цвели миндальные деревья. Когда они вышли около гавани, их встретил едкий запах остывшего дыма от сгоревшего бензина. У ворот сгрудились британские джипы и бронетранспортеры. По другую сторону забора стояли в очереди иммигранты в изорванной одежде. Потерянность на лицах, ожесточенные споры на английском и иврите. И повсюду бойцы Хаганы.

Жоэль не боялась. Быть может, потому что она не все понимала или потому что рядом всегда кто-то о них заботился. Посреди распадающегося порядка возникал новый порядок, где все было прекрасно организовано и подготовлено. Тут женщины проверяли по спискам имена, там другие женщины раздавали удостоверения, и, наконец, мужчины с автоматами, которые провели маленькую семью Жоэль через заграждения из колючей проволоки в район над гаванью. Они были не одни, с ними отправили еще несколько человек, прибывших неведомо откуда, и когда кто-то спрашивал Мориса, кто помог ему с удостоверением, он отвечал просто: «Друг». То же самое он сказал и Ясмине, и ничего больше.

Они поднимались в гору, мимо разбомбленных домов, об-

горевших деревьев и обугленных остовов машин. Повсюду воняло бензином и дымом. Улицу перегороживали баррикады из мешков с песком и мебели, каркасов кроватей и обгоревших автомобильных шин. На асфальте валялась вывеска магазина с арабскими буквами. Повсюду крутились собаки. Посреди тротуара Жоэль увидела деревянные напольные часы с немой латунным маятником за разбитым стеклом. Но самым странным ей показалось другое – не загадочные предметы на улице, а отсутствие музыки. Никто не пел, нигде не играло радио. Только тогда Жоэль поняла очевидное, когда увидела парикмахерскую с открытой дверью. Пекарню, в которой пахло мукой. Футбольный мяч перед обугленной стеной дома. Люди, здесь не было людей.

– Вот наш дом, – сказал Морис, остановившись.

Жоэль подняла глаза на фасад. Камни были цвета песка в пустыне. На кованом железном балконе развевалось на ветру белье. Это был теплый весенний день 1948 года на улице Яффо.

* * *

– Какая квартира наша? – спросила Ясмينا.

– Выбирайте сами, – ответил человек с винтовкой. – Но быстро.

Ясмينا выбрала второй этаж. Она сказала, что внизу слишком близко к улице, а выше будет трудно носить покуп-

ки. Человек с винтовкой взломал дверь, и они вошли.

– Нравится? – спросил Морис.

– Да, – ответила Ясмينا.

– А что с мебелью? – спросил Морис человека с винтовкой.

Тот пожал плечами.

Ясмينا осторожно села на зеленый диван и оглядела комнату. Там был обеденный стол с четырьмя стульями, стенной шкаф с дверцами из темного дерева и радиоприемник. На стене висела картина с цветами.

– А ключ? – спросил Морис.

– Поставите новый замок. Сходите к Джузеппе на улицу Арлозоров. Он тоже из Италии. Вы же итальянец, да?

– Да.

– Шалом. Мазаль тов.

Человек с винтовкой вышел из квартиры, и Морис попытался закрыть дверь. Но она осталась приоткрытой. В этот момент словно огромная тяжесть упала с их плеч. У них все получилось. Ясмينا обняла Мориса и разрыдалась. Жоэль, осматривавшая квартиру, перепугалась и замерла. Ясмينا содрогалась всем телом, впившись пальцами в его спину. Затем она опустилась на колени, словно чтобы ощутить надежность пола. Морис крепко держал ее, пока она не утихла. Он увидел страх в глазах Жоэль. И подозвал ее к себе. И стоило ей очутиться в папиных объятиях, как страх прошел.

Впервые за пять лет жизни у Жоэль появилась собственная комната. Две кровати, шкаф и письменный стол. На столе она нашла несколько карандашей и две синие школьные тетради. В одной были цифры и уравнения, в другой – английские слова. Записи обрывались в середине тетради; последним словом было *pharmacist*. Жоэль забралась на стол и выглянула в окно. Улица Яффо была не слишком узкой и не слишком широкой, с тротуарами на каждой стороне и четырехэтажными многоквартирными домами из камня песочного цвета с красивыми арочными окнами. Здесь были небольшие магазины, рестораны и мастерские, кинотеатр, церковь и пожарная станция. Улица вытекала из лабиринта Старого города и, проходя вдоль гавани, вела из Хайфы. Одни дома смотрели на склон холма, другие – на море. Вывески над закрытыми магазинами были на арабском, иврите, английском, итальянском и греческом. Молчаливые дома казались декорациями без актеров.

В окне через улицу мелькнул силуэт женщины. Она задержала занавеску. Жоэль вздрогнула.

– На улице есть и другие евреи, – успокоила ее Ясмина.

– Кто жил в моей комнате? – спросила Жоэль.

Ясмина пожала плечами и неуверенно огляделась.

– Они вернутся?

– Кто знает.

Позже, когда они спустились на улицу, чтобы найти какую-то еду, Жоэль попросила отца прочитать имена на дверных звонках у входа, потому что буквы были арабские и латинские, а она научилась читать пока только на иврите.

– Абу Навас, – прочитал Морис. – Тиби, Йодех, Ханаан.

Другие таблички он не смог разобрать.

– Где они сейчас? – спросила Жоэль.

– Ушли, – ответил Морис.

– Куда?

– Я не знаю.

– Почему они ушли?

– Из-за войны.

– Война уже закончилась?

– Нет.

– Нам тоже придется опять уехать?

Морис наклонился к ней, взял ее руки и твердо посмотрел ей в глаза.

– Нет. Мы остаемся здесь.

* * *

Первая ночь выдалась тяжелой. В комнате Жоэль было так тихо, что она слышала свое дыхание. Твоя собственная комната, говорили родители, разве это не прекрасно, – но Жоэль не могла заснуть. Ей вдруг стало не хватать звуков

других людей – в общей спальне, в бараке, в трюме корабля. Она привыкла просыпаться от чьего-то кашля, затыкала уши, чтобы не слышать храп. А сейчас ее пугала эта ночная тишина. Она встала, залезла на стол и выглянула в окно. Улица Яффо в лунном свете была призрачно тиха. Ни машин, ни музыки, одна лишь тишина. Да далекий собачий лай. Жоэль прокралась в прихожую. Из спальни родителей доносились странные звуки. Она надавила на ручку двери. Заглянула в щель и увидела обнаженные тела родителей, сплетенные силуэты в темноте. Родители двигались точно во сне, неистово, в ритме какой-то тайной музыки и испуганно дернулись, когда заметили Жоэль.

– Иди сюда, – сказала Ясмينا, и Жоэль неуверенно приблизилась к кровати.

Она забралась в постель, на лоб ей легла горячая мамина ладонь. Мама была мокрой и очень живой. И Жоэль заснула.

* * *

Наутро улица забурлила. Стоя на балконе, Жоэль наблюдала через решетку, как новая группа иммигрантов поднимается из порта с чемоданами и перевязанными веревкой коробками. Морис объяснял Ясмине что-то про Хагану, а Жоэль, не понимая, о чем он говорит, просто радовалась: среди прибывших были дети. Людей не сопровождали вооруженные солдаты, один лишь горячий ветер, вздымавший пыль

вдоль улицы. Новенькие разбредались по домам. С лестничной клетки донеслись шаги, дверь их квартиры вдруг со стуком распахнулась, и Морис поспешно вышел в коридор, преграждая путь. *Извини*, смущенно сказал незнакомец, а когда Морис не понял, добавил: *antschuldigt mir*. Затем жена незнакомца, или это была его мать, указала на дверь напротив и спросила что-то по-русски, пока мужчина взламывал замок. Так они познакомились с соседями. Морис помог им вынести коробки из квартиры; мы все равно не можем читать эти книги, сказали они, может, вы понимаете по-арабски? Нет, ответила за него Ясмينا, давайте выставим их у подъезда, может, заберет кто-то, знающий этот язык. И когда позже Морис спросил ее, почему она солгала, ведь она говорит на тунисском арабском, Ясмينا коротко ответила: *Никогда не знаешь, что скажут люди*. Он кивнул.

Вечером они отнесли соседям кастрюлю хлебного супа, который приготовила Ясмينا. Соседи поблагодарили их, и, уже собираясь уйти, Морис увидел пианино. «Бёзендорфер» черного дерева, старое, но в очень хорошем состоянии. Русские что-то сказали, и он, догадавшись, о чем они говорят, покачал головой. Тогда мужчина схватил его за руку и потянул к пианино. Откинул крышку: давай же. Но Морис извинился, и они с Ясминой и Жоэль ушли.

– Почему ты не стал играть? – спросила Ясмينا.

– Это не мой инструмент.

– Ну и что? Ты же играл на пианино моих родителей.

– Я знаю только немецкую музыку, – тихо сказал он, и Ясмينا быстро обернулась к дочери, которая ловила каждое слово.

Жоэль до сих пор помнит выражение ее лица, по которому она поняла, что услышала то, чего ей слышать было нельзя. В глазах матери был страх, причину которого она поймет много позже. Ясмينا взяла Жоэль за руку и повела укладывать спать.

Той ночью Жоэль уже не чувствовала себя одинокой. Шаги сверху, голоса с улицы залетали в ее комнату. Возбужденная ими, она выглянула на улицу. Окна в доме напротив были освещены. Она видела, как женщины там застилают постели, а мужчины двигают мебель, слышала удары молотка и звуки аккордеона, под который старики пели на языке, знакомом ей по Лагерю номер 60.

Zog nit keyn mol az du geyst dem letstn veg!

Не говори, что ты идешь в последний путь!

* * *

На следующий день Морис снял замок с двери, и они пошли к слесарю Джузеппе, чтобы тот сделал ключ. Повсюду Жоэль видела что-то непонятное, что родители не могли ей толком объяснить. Она видела женщин, ссорящихся из-за детской коляски, полной фарфора. Она видела разбитую витрину магазина и помятую машину, на крышу которой

мужчины затаскивали холодильник. Она видела еврейских лавочников, забивавших свои витрины досками. Видела ребенка, одиноко стоящего на перекрестке и зовущего родителей. Видела лошадь, галопом несущуюся по улице Яффо, с диким ржанием, исходя пеной. Ясмина успела втащить Жоэль в дверь, прежде чем лошадь проскакала мимо. Затем по улице эхом прокатился выстрел; лошадь споткнулась и упала. Жоэль успела увидеть, как дергаются ее ноги, как морда с выпученными глазами тянется к небу, а затем голова медленно опустилась и лошадь перестала шевелиться.

* * *

Когда они поднялись к себе в квартиру, в их прихожей стоял высокий мужчина. У него была только одна нога и деревянный костыль. Ясмина громко вскрикнула, и тут из комнаты Жоэль вышел еще один мужчина. Он был в нижней рубашке, один глаз закрыт черной повязкой, а в руке он держал винтовку. Он рявкнул что-то на иврите. Ясмина подхватила Жоэль на руки. Морис велел мужчинам немедленно уйти, но те объявили, что теперь они будут жить здесь. Морис в ярости ткнул им удостоверение, что квартира выделена им. Мужчины только рассмеялись. Одноногий уселся на кровать Жоэль и заявил, что удовольствуется этой комнатой. Морис отправил Ясмину и Жоэль на поиски полицейского. Они долго бродили по окрестностям, пока наконец не нашли

одного; английская полиция уже была расформирована, а еврейские полицейские, пока еще носившие британскую форму, были завалены делами. Когда они вернулись в квартиру, человек с винтовкой заявил, что британский полицейский, пусть он даже еврей, ему не указ. Морис показал полицейскому документ Хаганы, но человек с винтовкой сказал, что он подотрется этой бумажкой, потому как он боец Иргуна. Что это вообще за государство, которое бросит в беде бойцов, что за него сражались? Полицейский, увидев вытатуированный номер на руке одного, сказал в ответ:

– Как может еврей так поступить с другим евреем после всего, что с нами сделали? Он же сам был в лагере.

Одноногий ответил, что те, кто в лагере не думал в первую очередь о себе, те сдохли. После чего одноглазый наставил винтовку на полицейского и потребовал убираться. Полицейский извинился перед Морисом, мол, он ничего не может поделать, пусть Хагана с Иргуном разбираются между собой. Но таков был неписанный закон тех незаконных дней: кто провел ночь в комнате, тот и хозяин.

* * *

Жоэль было ужасно страшно той ночью, которую они провели на полу, не раздеваясь, в квартире русских соседей, пока чужие мужчины лежали в их постелях. Это чувство будет сопровождать ее всю жизнь: страх неприкаянности.

На следующее утро Морис отправился в гавань, а через несколько часов вернулся в сопровождении двух человек. Это были бойцы Хаганы – в форме и с автоматами. Они силой выставили одноногого и одноглазого из квартиры и пригрозили пристрелить, если те вернутся. Ясмينا хотела отблагодарить бойцов Хаганы, пригласив их на ужин, но те отговорились делами. Это друзья одного друга, объяснил Морис, и Ясмينا с облегчением обняла его. После чего Морис вставил замок, Ясмينا выстирала простыни, и следующую ночь Жоэль смогла опять провести в своей комнате. Закрыв глаза, она видела, как эта парочка, одноногий и одноглазый, беспокойно скитаются по улицам.

Глава 10

В последующие дни Морис отправлялся в порт разузнать насчет работы, возвращался он с чудесными вещами: буханкой хлеба, молоком, помидорами, куском мыла и информацией о том, где можно достать всякое-разное. Соседи любили его. Морис, итальянец. Когда он починил русским сломанное радио, они в благодарность предложили ему забрать пианино. Оно нам только мешает, сказали они, предпочитаем радио. Морис отказался. Но на следующий вечер, когда он вернулся из порта, пианино стояло в гостиной. Русские соседи с помощью Ясины перетащили инструмент из одной квартиры в другую. Морис молча встал перед пианино.

– Разве ты не рад? – спросила Ясмينا.

– Мы не можем принять такой подарок.

– Но соседям оно не нужно. В конце концов, оно им и не принадлежало.

– Вот именно. Это неприлично.

– А чье оно? – встряла Жозель. Никто ей не ответил, и она снова спросила: – Арабов?

Тишина, повисшая после этого слова, была такой тяжелой и гнетущей, как будто она произнесла что-то недозволенное, бранное слово или проклятие.

– Я-то что могу с этим поделаться? – воскликнула Ясмينا. – Господин Леви, мэр, просил их остаться. Ты слышал об этом? Но их вожаки отказались. Они предпочли эвакуировать своих людей. Но пожалуйста, если тебе не нравится пианино, давай продадим его.

– Нет. А если хозяева вернуться?

Ясмина отвернулась и ушла на кухню. Как всегда, когда проблему не удавалось решить, она предпочитала исчезнуть. Морис был другим: он неустанно, почти упрямо искал наилучшее решение, желательно для всех, даже если такового не было. Так пианино и осталось стоять нетронутым в гостиной, о нем больше не говорили – памятник без памяти, вопросительный знак без вопроса. Ночью, когда за ней никто не наблюдал, Жоэль выскальзывала из своей комнаты в тихую гостиную и осторожно поднимала крышку пианино. Ее пальцы касались клавиш, но нажимали на них очень осторожно, так осторожно, что не было слышно ни звука. Она тихонько напевала песню, которую выучила в кибуче.

* * *

Ясмина разбирала имущество в квартире. В первые же дни завелся обычай меняться: каждый находил в своей новой квартире что-то ему совершенно ненужное, но вполне полезное для соседа. Улица Яффо напоминала хаотичный блошиный рынок: люди вытаскивали на тротуар шкафы, вывола-

кивали инструменты и оборудование из покинутых мастерских, меняли и продавали все. Еврейские полицейские пытались остановить мародеров, но едва они скрывались за углом, как все начиналось заново. Участвовали в этом и солдаты, и новоприбывшие, но хватало и коренных жителей города, которые тащили из домов бывших соседей все, что могли там найти. Стулья, диваны, столы, ковры, раковины, зеркала, столовое серебро, фарфор, скатерти, бутылки вина, одежду, мягкие игрушки, лампы, часы и радиоприемники. Какой-то мужчина тянул за собой через улицу кресло из парикмахерской, подростки выталкивали машину из гаража.

– Как же им не стыдно? – сказала Ясмينا и велела дочери оставаться в квартире.

Жоэль наблюдала за этим спектаклем с балкона. Другие дети активно участвовали в нем. И милые соседи тоже. Если уж сабры этим занимаются, говорили недавно приехавшие, так и нам не зазорно. Желая обуздать этот хаос, Еврейское агентство устроило в порту склад, где следовало собрать все брошенные вещи, чтобы затем выставить их на открытый аукцион. Добровольцы прошли по квартирам и вынесли то, что еще не было разграблено. Однако еще до того, как успели организовать аукцион, лучшие вещи тайком ушли к членам ополчения, партий и профсоюзов. Каждый, у кого имелись влиятельные знакомые, просил о небольшой услуге. И кто мог помочь, тот помогал. Еврейские предприниматели вернулись в город, чтобы вновь открыть свои магазины и

конторы. Остальные – нет. Поговаривали, что часть арабов скрываются где-то в Хайфе.

* * *

По вечерам Морис сидел у радиоприемника, переключаясь между ивритским Радио Хаганы и английским Би-би-си. Он хотел знать, что происходит на дороге из Тель-Авива в Иерусалим, хотя сам там еще и не бывал. Вечно эта дорога, удивлялась Ясмينا, почему она тебя так интересует? Потому что там решается наша судьба, отвечал он. Арабские боевики то и дело нападают там на еврейские автоколонны, на грузовики Хаганы, перевозящие продовольствие, воду, медикаменты и оружие для евреев Иерусалима. Без этой артерии жизни, которая тянется, петляя, вверх от побережья по холмистой местности, шестьдесят тысяч евреев окажутся в изоляции. Большинство евреев жили на побережье, а Иерусалим находился в окружении арабских деревень, которые должны войти в арабское государство. Раньше фермеры продавали урожай всем жителям Иерусалима, христианам, евреям и мусульманам, но теперь соседи стали врагами. Иерусалимские евреи оказались в осаде. Морис старался, чтобы Жоэль не слушала радио, но та ночами, выбравшись из постели, пробиралась к двери гостиной, чтобы через щелку улавливать новости на иврите. Она понимала только часть, но звучало так захватывающе, а особенно ее волно-

вало лицо отца. В свете лампы он казался намного старше. Папá словно преображался. Становился беспокойным, рассеянным, словно мыслями был где-то далеко. Словно часть его самого была на этой дороге. И правда, в этих конвоях водителями ездили его новые друзья. Жоэль невольно вспоминала того мертвого человека, которого она видела лежащим на дороге из кибуца в Хайфу. Она была рада, что отец не ведет один из этих грузовиков. Когда сообщалось, что в бою за дорогу кого-то убили или ранили, папá во что бы то ни стало хотел узнать его имя. Однажды поздним вечером, когда обычно возвращались грузовики, он отправился в порт, чтобы поговорить с водителями. Вернулся он только утром и на вопрос Жоэль, что случилось, односложно ответил на иврите: *Hakol beseder*, все в порядке. Когда он так говорил, она верила. Ее мир был в полном порядке, пока папá об этом заботится. И он заботился.

* * *

Ясмину, казалось, не беспокоило ничто, происходившее за пределами улицы Яффо. И если в других местах новой страны она чувствовала себя очень неуверенно, то здесь ощущала полную безопасность – у моря, ее моря, с красками которого она выросла. И наконец-то у нее есть свой собственный дом, о котором мечтала столько лет. Жоэль впервые увидела, как ее родители целуются, не только когда па-

пá приходил домой, но и просто так, на кухне, и она до сих пор помнит, насколько прекрасным это ей показалось. Когда Морис и Ясмина заметили, что она наблюдает за ними, они рассмеялись и раскрыли к ней объятия. Жоэль кинулась к ним, а они разом наклонились и поцеловали ее, один справа, другой слева, в обе щеки. Потом Ясмина приготовила запеканку из макарон, а может, даже это было оссобуко, Жоэль уже забыла, но она ясно помнит, что после ужина отец поставил стул перед пианино, открыл крышку и, пока Жоэль и Ясмина смотрели на него, затаив дыхание от удивления, заиграл песню Шуберта. Она помнит, как он усадил ее к себе на колени, как она вместе с ним напевала мелодию, следя за его пальцами на клавишах, и как в тот момент она поняла, что музыка подчиняется структуре, такой же четкой и упорядоченной, как и клавиши перед ней. Что означают тона и полутона, что такое октава и какие ноты гармонируют друг с другом – в тот вечер она поняла это на всю жизнь, как будто открылся занавес в новый мир, который приглашал ее к себе. Кто знает, стала бы она впоследствии певицей, если бы Морис так и не прикоснулся к арабскому пианино. Окно на улицу Яффо было открыто, так что снаружи к музыке примешивались голоса, ставшие уже почти знакомыми. И вдруг раздались ликующие крики. Морис встал, подошел к окну, а потом включил Радио Хаганы. Мы завоевали Яффу, сказал он.

На следующий день британцы сняли свои флаги со всех

правительственных зданий, а незадолго до начала шаббата Давид Бен-Гурион объявил в музее на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве, что сегодня, в пятый день месяца ияр 5708 года, будет основано еврейское государство – родина для еврейского народа, рассеянного по всему миру. Оно будет называться Израиль. Жоэль до сих пор помнит напряженную торжественность голоса из радиоприемника... и полную тишину на улице Яффо. Казалось, что вся еврейская община затаила дыхание. Только Ясмина, которая готовила ужин, пока Жоэль сидела в гостиной, ничего не слышала, потому что напевала итальянскую песенку, как обычно, когда была поглощена каким-то занятием. Жоэль пересказала матери услышанное по радио, правда не совсем понимая, что все это значит, но одно она поняла: теперь у них есть своя страна, где они – не меньшинство. Ясмина отложила кухонный нож, вытерла руки о фартук и поспешила в гостиную. Там, крепко прижав к себе Жоэль, она слушала радио, пока речь не закончилась. Это было совсем не то что сегодня, когда мы вполуха слушаем речи политиков или безучастно пропускаем их вовсе, то был момент истинного доверия. Только Мориса не хватало: именно в этот важнейший момент он пошел на рынок, чтобы успеть купить хлеба, пока не наступил шаббат. Когда Бен-Гурион закончил говорить, зазвучала «Атиква». С улицы уже всюду неслись ликующие крики.

Никто не призывал, ни у кого не было плана, но все жители вывалили на улицы, словно иначе и быть не могло. Ни-

кто не мог оставаться сейчас один, хотелось разделить этот момент со всеми. На лестнице Ясмина и Жоэль встретили русских соседей, которые накинулись на них с объятиями, с непонятными, но наверняка восторженными словами, и все вместе они побежали вниз. В насыщенном свете заходящего солнца улица Яффо была уже забита людьми, которых переполняли чувства; бурно жестикулируя, они на разных языках снова и снова подтверждали друг другу, что они сейчас слышали. Незнакомцы обнимались, отцы сажали детей на плечи, и вскоре, словно по невидимому сигналу, все двинулись на авеню Кармель, что вела от парка вниз к гавани. Тут появился и Морис – спешил навстречу с буханкой хлеба в руке, один-единственный против людского потока. Ясмина замахала ему, и вот они обнялись и замерли, а толпа обтекала их потоком. Оба были удивлены, ведь все произошло так быстро, ведь до сих пор шла гражданская война, и что это вообще значит – государство? Но вопросы, крутившиеся у них в головах, были смыты бескрайней радостью, что бушевала вокруг. Морис взял Ясмину за руку, и они устремились вместе с остальными к гавани. Чем дальше они шли по улице Яффо, тем сильнее их маленький мирок, который еще недавно казался улицей-призраком, превращался в безбрежный праздник жизни. На авеню Кармель их толпа слилась с евреями, спускающимися из верхних кварталов, из Герцлии и Адар ха-Кармель. Город говорил на многих языках – идиш, немецкий, итальянский, русский, польский, – но зазвучав-

шая песня была на иврите, новом для них и древнем языке, и в тот момент евреи, рассеянные по миру, действительно стали единым народом: мечта их исполнилась, десятки ручьев слились в одну большую реку, и каждый знал, что вот отныне место, ему предназначенное, – в этом потоке, среди сородичей.

* * *

До сих пор непонятно, как Ясмينا могла заметить его на таком расстоянии. Их разделяло метров сто и колышущееся море голов. Может, дело в том, что кольцевая развязка, где он стоял с винтовкой за спиной, была ярко освещена фонарями. А быть может, человеческий глаз – не просто оптический инструмент, но окно в душу: он видит то, что ему нужно увидеть, каким бы неприметным оно ни казалось, и отсекает то, чего не хочет видеть, даже если оно буквально бросается в глаза. Понятно, что в ту ночь все отбросили любую осторожность и праздновали без удержу, как и Виктор. Медленно, почти незаметно, Ясмينا отпустила руку дочери. И Жоэль внезапно осталась одна среди буйно качающихся тел. Испугавшись, она заозиралась в поисках папá, который уже через миг схватил ее за руку. Он тоже удивился, куда подевалась Ясмينا. Он пытался разглядеть ее в бурлящей толпе, которая бросала ее из стороны в сторону, а она, как в трансе, брела к кольцевой развязке – хрупкая среди шумной

людской массы.

– Ясмина! – позвал он, но она уже не слышала его.

Все ее внимание было сосредоточено на одном человеке, к которому она подходила все ближе и ближе, но он ее пока не заметил. Незнакомая женщина поцеловала его и двинулась дальше, мужчины восхищенно похлопывали его по плечу, а Виктор стоял рядом со своими товарищами в чуть небрежной форме Хаганы. Морис устремился за Ясминой. В толчее он выпустил руку Жоэль, но тут же остановился, обернулся, нашел ее и опять потащил за собой. У нее растегнулась туфля, и она испугалась, что потеряет ее, но не решилась сказать об этом отцу, чтобы не помешать ему бежать за мамой. Жоэль не видела ничего, кроме ног и бедер, танцующие тела толкали ее, для нее этот праздник на уровне колен взрослых был опасным, любой толчок мог сбить ее с ног, и буйная толпа вмиг растоптала бы ее. Рука отца была единственной защитой. Внезапно он остановился. Сначала она почувствовала, что его рука ослабла, как будто он пошатнулся, а когда люди перед ними двинулись дальше, Жоэль увидела маму. Она хотела кинуться к ней, но тут папина рука сжалась даже крепче прежнего, и он с силой притянул ее к себе. Перед Ясминой стоял человек в форме, с винтовкой за плечом, черноволосый, крепко сбитый. Он словно сошел с одного из тех героических плакатов, что висели повсюду на стенах. Он смотрел на Ясмину, которая была всего в нескольких шагах от него, молча и без удивления, а она за-

стыла, будто увидев злого духа. Жоэль подняла глаза на папу, желая, чтобы он что-нибудь сделал, потому что происходило что-то неправильное – среди всеобщего праздника разверзлась пропасть, и кто-то должен помешать всем свалиться в нее.

Ясмина что-то пробормотала, потом плечи ее начали трястись, и Жоэль поняла, что она плачет, но не поняла, от боли или от радости. Мужчина подошел к ней и осторожно взял за руку. Она дернулась, отшатнулась, тогда он сделал к ней еще один шаг, убрал в сторону винтовку и обнял ее. Через отцовскую руку Жоэль ощутила, как тело папы содрогнулось, будто внутри у него что-то сломалось, и ей захотелось закричать, чтобы остановить происходящее, сделать так, чтобы оно исчезло навсегда. Руки Ясины впились в спину мужчины, затем сильный спазм рыданий сотряс ее тело, а он все обнимал ее и тут заметил Мориса. И вдруг Ясмина оттолкнула его. Мужчина потянулся к ней, но, прежде чем успел снова дотронуться до нее, Ясмина принялась колотить его в каком-то диком отчаянии. Жоэль пришла в ужас. Она никогда не видела маму в такой ярости, а папу – таким беспомощным. Это произошло вскоре после захода солнца, в пятницу, 14 мая 1948 года.

Глава 11

Палермо

– Они сказали тебе, кто это? – спрашиваю я.

– Дядя Виктор, вот и все, что сказали. Это твой дядя Виктор.

– Ты не удивилась, откуда он вдруг появился?

– Нет, – отвечает Жоэль. – Тогда это было обычное дело. Все искали родственников, не зная, живы ли они. А в Израиле вдруг встречались. Если повезет.

– Что случилось потом?

– Ох, милая, все произошло так быстро. В ту же ночь напали арабы.

Она встает и, все еще слабо держась на ногах, ковыляет на кухню. Заглядывает в холодильник и в ящики в поисках еды. Мне кажется, что она еще не совсем вернулась в наше время. На часах за полночь.

– Отдохни, Жоэль. Я приготовлю нам что-нибудь поесть.

И вдруг замечаю слезы у нее на глазах.

– Спасибо, что ты слушала меня.

Она хочет самостоятельно вернуться к дивану, но потом

все же благодарно принимает мою помощь. Я нахожу в кухонном шкафу супы в пакетиках и пару еще пригодных луковиц. Дед жил непритворливо. Ставлю воду на огонь. Открываю пакетик с минестроне, высыпаю его в воду, помещиваю. Меня успокаивает, когда можно сконцентрироваться на привычных, отрететированных движениях. Люблю порядок, ритм, последовательность. Особенно когда вокруг полный хаос.

Когда я возвращаюсь к Жоэль с двумя тарелками супа, она уже спит на диване. Смотрю на ее лицо в круге света – наконец-то на нем покой. Я пытаюсь представить себе маленькую девочку в Хайфе, которая хватается за папину руку в толпе. Осталось ли что-то еще от этой девочки? Морщины не так сильно старят лицо, как горечь от обманутого доверия.

* * *

Я ем на кухне одна. Листаю ежедневную газету, которая лежала на маленьком столике с клеенкой; может, это были последние новости нашего мира, которые прочел Мориц. Интересно, он наслаждался тишиной или боялся ее? Что значило для него жить в мире без войны? Скучал ли он в одиночестве, хотелось ли ему общения? Был этот дом для него родиной или изгнанием? Я могу представить ответы на все вопросы. Кроме одного: почему он никогда не пытался связаться с дочерьми?

У каждого человека, даже самого счастливого, есть тайная рана на сердце. Рана Жоэль – этот вопрос. Как и для моей матери, но для Жоэль это гораздо мучительнее, ведь она выросла с отцом, то есть потеряла очень близкого человека, в то время как маму терзала неясная тоска. Жажда неутоленной близости, постоянно гнавшая ее все дальше прочь. А Жоэль больше всего ранит то, что обнаружилась другая семья, что отец отказал ей в любви и отдал эту любовь другому ребенку. Я спрашиваю себя, имеет ли значение национальность этого другого ребенка, его принадлежность тому народу, чья судьба столь несчастно переплетена с народом Жоэль. Может, в этом кроется причина ее столь бурной реакции на Элиаса? И как получилось, что отец сделал врага ее братом? Было ли это его сознательным выбором, или простым совпадением, или тем, что Жоэль называет – по-арабски! – мактуб, предначертанность.

* * *

Лестница скрипит, когда я иду наверх в поисках простыни. Я все еще не решаюсь войти в спальню, но рядом с ней обнаруживается гостевая, вероятно, комната, которой – судя по запаху – никто не пользовался. Шкаф, две кровати, выход на балкон. Я нахожу стопку простыней, аккуратно сложенных, наверно, домработницей, подушки, наволочки и пододеяльники. Мне не хочется спать здесь одной, поэтому

спускаюсь в гостиную, стелю себе на диване, укрываю спящую Жоэль. Для меня пока нет никакого покоя.

* * *

Я просыпаюсь внезапно, от какого-то напева, уже светло. Сначала мне кажется, что пение было во сне, но когда я открываю глаза, моргая от дневного света, то вижу Жоэль – сидит за обеденным столом и тихо поет. Не для себя, не для меня, а для Морица: перед ней стоят его молодая фотография, свеча и свежие цветы из сада. Ее голос прекрасен, он сильнее грусти, которой полна мелодия. В ее голосе – несокрушимая сила, способная все преодолеть. Я не знаю иврит, но чувствую смысл, даже не понимая слов.

Она жестом манит меня.

Завернувшись в одеяло, я сажусь за стол. Она улыбается мне, выглядит сегодня более подтянутой и свежей, чем вчера.

– Я не знала, что ты религиозна.

– Ну не знаю, верю ли я в Бога. Но я верю в ритуалы. Каждый делает по-своему. Говорят, что это помогает душе найти дорогу домой. Не знаю, слышит ли меня папá сейчас. Но меня это немного успокаивает.

Мы некоторое время сидим вместе, закрыв глаза, я слушаю, но почувствовать ничего не получается. Я знаю только, что *должна* чувствовать. Когда умерла мама, я мысленно

но проживала заново все моменты, которые нас связывали, и главным образом – самые прекрасные из них, и они представлялись даже более реальными и светлыми, чем раньше; это было как кино, прошедшее перед внутренним взором и наполнившее сердце любовью. Так началось за несколько дней до ее смерти и продолжалось еще несколько недель и месяцев. Мы были вместе, семьей, несмотря ни на что, у нас была общая жизнь, и каждая частица меня противилась одиночеству. А сейчас с бабушкой все совсем по-другому: у меня нет общих воспоминаний, ритуалов и песенок из детства. Его нет во мне. Я скорблю не о нем, а о потерянном времени.

* * *

Должно быть больше фотографий. Фотограф, который не документирует свою собственную жизнь, – такого не бывает. Я сумею восстановить его образ по фотографиям. В отличие от рассказов, фотографии не упускают деталей. Я рыскаю по безмолвным комнатам, как беспокойный призрак. Открываю дверь спальни и проскальзываю внутрь. Ставни закрыты. Такие тяжелые, как и сицилийские ящики в его комод из темного полированного дерева. Осторожно их выдвигаю. Носовые платки, батарейки, сломанные часы и вот, наконец, то, что я ищу. Чего не хватало внизу, в гостиной, – семейная фотография. Наверно, из отпуска. Опущенное стекло шикарной легковой машины, за рулем Мориц, ему, воз-

можно, около пятидесяти, загорелый и уверенный в себе, рука небрежно лежит на окне, у него усы и бакенбарды. Рядом с ним сидит женщина в джинсах и кожаной куртке, она смеется в камеру. Я включаю свет, чтобы получше ее рассмотреть. Черные волосы до плеч и солнцезащитные очки, придающие ей лихой вид. Черты лица у женщины резковатые, решительные. Вполне может быть арабкой. На заднем сиденье – темноволосый мальчик лет двенадцати. Он смотрит в камеру с сомнением, как будто не понимая, что он делает в этой машине. Только после паузы я узнаю его по глазам: Элиас Бишара. Без той замкнутости, что окружает его сегодня. Я внезапно понимаю, что этот мальчик – ключ к тайне моего деда.

Я краду фотографию. Выключаю свет, выхожу из дома, открываю гараж и подношу фотографию к коричнево-му «ситроену». Хромированная отделка, сдвижная крыша, кожаные сиденья в стиле Корбюзье – это тот самый автомобиль. Я открываю дверцу. Она поддается тяжело и со скрипом, я осторожно сажусь за руль. Пахнет иным, более диким временем. Я закрываю глаза и вдруг снова становлюсь ребенком на заднем сиденье американской тачки, которую водил мой отец. Я вижу, как на ветру развеваются мамины светлые, завитые волосы, вижу ее большие солнцезащитные очки и сигарету в тонких пальцах, которую она стряхивает подчеркнуто непринужденно, но несколько нервно. Солнечный свет проникает через открытый люк в крыше, кассета

играет *Take The Long Way Home*¹⁶, и по тому, как мама смотрит на отца, я чувствую, что мы в последний раз едем в его машине. Но я не должна показывать, как мне грустно из-за этого. Когда я снова открываю глаза, то знаю, что если кто-то и может найти мальчика на фотографии, то только девочка, которой я когда-то была.

* * *

– Я не могу с тобой пойти, – говорит Жоэль, словно сообщая о своем табу. – Но ты иди. Может, что-то узнаешь.

Я не пытаюсь ее переубедить, чувствуя, что иначе быть и не может. Между мной и мальчиком на фотографии, который теперь мужчина, есть только неизвестность, но нет наследственной вражды. Если я не ошибаюсь. Я передвигаюсь по тонкому льду, над неведомыми глубинами. Как было бы легко, если бы каждый человек состоял только из самого себя. Но нас определяют не только наши решения, но и запутанные обстоятельства наших матерей и отцов. Как будто они вручили нам тюк, куда упаковали все, что не смогли унести сами, рюкзак, полный скрытых грехов, открытых ран и неоплаченных счетов. И мы взваливаем его себе на спину, безропотно, безоговорочно, штопаем, если он разрывается, перевязываем бечевкой нашей благодарности за жизнь, ко-

¹⁶ «Проделай долгий путь домой» – песня американской рок-группы *Supertramp* с пластинки 1979 года «Завтрак в Америке».

торуую нам дали, и несем его, словно он наш собственный. Ради преданности покойному, от которой сложнее освободиться, чем от преданности живому человеку. Потому что упущено время, когда можно было поговорить, поблагодарить, простить, сказать последние слова любви. Смерть закрывает все, и остается только наша неспособность говорить. Пока кто-то не наберется смелости и не развяжет свой груз.

* * *

Его адрес указан в копии завещания. На такси всего пятнадцать минут, но мир, где живет Элиас, выглядит невероятно далеким от мира Морица. Разбитые улицы, дети на велосипедах и курящие подростки в спортивных костюмах. Серые блочные дома, наспех построенные в семидесятые годы и с тех пор почти не знавшие ремонта. За ними – доки, крапы и ржавые склады. Солнце высоко; томительное, бесцельное воскресенье. Я уже сомневаюсь, надо ли было приезжать. Взгляды подростков провожают меня до самого входа в дом. Среди разбитых табличек на звонках нахожу его имя. Бишара. Написано от руки, как и другие имена, в основном не итальянские. Второй этаж. Нажимаю на ручку двери – замка нет – и поднимаюсь по лестнице. Длинные коридоры, двери, слишком похожие друг на друга, слышны детские крики, музыка по радио, громкий мужской голос.

Я звоню, и дверь открывает женщина. Я этого совсем не

ожидала, а она – тем более. Уверенная в себе и красивая сицилийка, невысокая, энергичная. У нее полные губы и теплые глаза, возможно, моя ровесница. С такой женщиной не хотелось бы враждовать.

– Я внучка Морица.

Имя не вызывает симпатии, скорее неловкость. Появляется мальчик, с любопытством смотрит на меня. Мальчик с фотографии, мелькает у меня в голове. Они поразительно похожи.

– Элиас дома?

Я называю его по имени, чтобы стать ей немножко ближе. В конце концов, мы родственники.

– Нет, извините, его нет.

Я собираюсь уйти, но она приглашает меня в квартиру.

– Меня зовут Нина.

– Лаура, очень приятно. Добро пожаловать, – произносит она несколько скованно.

Дом других. Я – чужая. Квартира аккуратная и обустроенная со вкусом. Телевизор включен. Пахнет помидорами, чесноком и жареной рыбой. Тарелки для ужина уже на столе.

– Поздоровайтесь с Ниной!

Мальчик и его младшая сестра вежливо протягивают мне руки. Знают ли они, что мы родственники? Ловлю себя на мысли, что именно об этом я всегда мечтала. Не о такой квартире и не об унылом виде из окна. А о семье. Дом создается не мебелью, не книгами на полках и даже не накры-

тым столом. А детьми. В этих двоих есть что-то неведимое, цельное; они любят маму, доверяют ей.

Лаура спрашивает, что я хочу пить, и уходит на кухню. Мой взгляд падает на большую картину на стене. Узнаваемая сразу панорама Иерусалима: стены Старого города, золотой Купол Скалы. Потом я вижу семейные фотографии на полке. Свадьба Элиаса и Лауры. Элиас и Лаура с детьми. Рядом черно-белая фотография Морица и красивой женщины в солнечных очках. Ему примерно около пятидесяти лет, она моложе, позади – море.

– Сейчас позвоню ему! – Лаура протягивает мне стакан воды и достает мобильный.

Когда он отвечает, Лаура говорит, что я здесь. Нина. *La tedesca*, немка. И вешает трубку.

– Он сейчас придет. – Ее голос звучит как будто встревоженно. Но она не выдает свои мысли. Может, ей любопытно, какая я.

Я указываю на фотографию:

– Это его мать?

– Да.

– А где это снято?

– Я не знаю.

Как будто в ответ на мой вопрос она ставит на стол кастрюлю с капонатой¹⁷ и приглашает меня присоединиться. Мальчик приносит для меня тарелку из кухни. Я снова пы-

¹⁷ Традиционное сицилийское блюдо, овощное рагу на основе баклажанов.

таюсь перевести разговор на мать Элиаса, но Лаура уклоняется. Точно на эту тему лучше не говорить при детях. Мы немного беседуем о Германии, о том, почему я говорю по-итальянски, и о моем бывшем муже, которого я вдруг снова называю мужем, – и почему я не могу просто признать, что развелась?

В какой-то момент Лаура неожиданно говорит:

– Знаете, Элиас очень любил отца. Он ему многим обязан.

А Мориц многим обязан *ему*.

Неужели я ошиблась? Но я помню, как Элиас смотрел на тело Морица. В его глазах не было любви. Так мужчины смотрят на мертвого врага.

– У меня сложилось другое впечатление.

– Вы о нем не все знаете. Может, это и к лучшему.

Дети спрашивают, кто решает, попадет человек в рай или в ад.

– Дедушка определенно на небесах, – отвечает Лаура.

* * *

Затем появляется Элиас. Он бросает на меня быстрый взгляд, целует и обнимает детей. Но не жену. Садится за стол, сын приносит ему тарелку из кухни, а Лаура хочет положить кусок рыбы.

– Спасибо, я уже поел, – отвечает он.

Я чувствую – что-то не так, я тут незваный гость.

– Я подумала, что будет лучше, если мы поговорим, – начинаю я.

Он одаривает меня саркастической улыбкой.

– Не про завещание. Про нас.

– А мадам?..

– Жоэль.

– Она знает, что вы здесь?

– Нет.

Он что, проверяет мою лояльность Жоэль? Надо ли это вообще обсуждать? Мне нужно перехватить инициативу.

– Я хочу разобраться. Очевидно, что Мориц хотел, чтобы мы встретились.

Элиас резко встает:

– Я отвезу вас.

* * *

Оказывается, он не хочет от меня избавиться, а хочет остаться со мной наедине. Я понимаю это, только когда мы едем по пригороду в его «фиате». Когда он молча включает радио, я вспоминаю старые шпионские фильмы, где герой прикладывает палец к губам, намекая, что комната прослушивается, а потом включает музыку. Не думаю, что он мне доверяет, но сам все же внушает доверие. Как человек, умеющий хранить секреты.

– Сигарету? – Он протягивает мне свою смятую пачку

«MS».

– Спасибо, нет.

– А вы не против?

– Нет.

Он опускает свое окно. Доносится запах жареной рыбы, соленой воды и водорослей. Рассеянный свет воскресного вечера, как через паутинку.

– И, кстати, – добавляю я, – можем перейти на «ты». В конце концов, мы родственники.

Теперь я одариваю его ироничной улыбкой. Он прикуривает и протягивает мне руку:

– Элиас.

Вот и все. Обычно за этим следует дружеское сближение, шутка или разговор, разрушающий прежнюю невидимую границу, некая шутливая откровенность. Но с Элиасом ничего такого невозможно. Да мне и этого достаточно.

На свете мало людей, с которыми я могу выдержать молчание, что уж говорить о незнакомцах. А он и правда незнакомец, хотя формально – мой дядя. И все же между нами возникло молчаливое взаимопонимание, вопреки всем невысказанным словам. Если с Жоэль я могу говорить об определенных вещах, то с Элиасом я молчу о тех же вещах. Он открыт и не замыкается в себе до тех пор, пока я не упоминаю Морица. Нас обгоняют беспечные лихачи на «веспах»; Элиас едет спокойно и медленно. Не потому что он медлителен по своей природе, а из благоразумия. Так благоразу-

мен выживший человек. Возможно, только это и роднит его с Жоэль. После того, как мы некоторое время помолчали о его отце, мы меняем тему и молчим о его семье. Я ничего не говорю о внезапно одолевшей меня печали, которую я пыталась скрыть, когда увидела его детей, – полноценность, настоящая семья, какой я была лишена не только в детстве, но и в браке. Мой бывший муж не хотел детей, а теперь уже слишком поздно. Иных вещей недостает именно тогда, когда понимаешь, что они упущены окончательно. Я чувствую на себе испытующий взгляд Элиаса и благодарна ему за молчание. Если бы сейчас пришлось подводить итоги и сравнивать нас, его жизнь с моей, как это любят делать «нормальные» родственники, сравнение вышло бы не в мою пользу. Что бы ни происходило между ним и его покойным отцом – у него есть дети. Главное – это будущее. Я, конечно же, не хочу повернуть время вспять, по большей части я справляюсь хорошо, бывают и моменты счастья. Боль перестала быть хронической, она внезапно возникает и проходит. Просто я выпала из всех тех модулей, что определяли мою прежнюю идентичность. Недавно мне пришлось изменить семейное положение в ведомости для начисления зарплаты, теперь я не «в браке», а «разведена». Тебе не дают на выбор два состояния: «одинока» или «в отношениях». Нет, вдобавок различают три типа одиночества: не замужем, разведена, вдова. Словно надо указать, что именно пошло не так. После брака не получается вернуться обратно на старт, как в настольной иг-

ре, и начать с чистого листа. Нет уж, по гражданскому праву есть жизнь до любви, в любви и после любви. И после ты уже не сможешь любить с той же невинной уверенностью – ты не можешь *to fall in love*, рухнуть в любовь, чтобы кто-то подхватил и обнял тебя, нет, это уже в прошлом.

* * *

Вилла Морица тихо стоит между пальмами. Элиас выключает двигатель. Радио продолжает играть. Рекламная болтовня. Как много голосов в машине.

– Если хочешь, то, может, зайдешь? Если только жена не ждет обратно...

– Нет, – отвечает он, выпуская дым в окно. Однако не похоже, будто он хочет закончить разговор.

– «Нет» в смысле, что ты не войдешь или что она не ждет?

– Я больше не живу с ней.

Я поражена.

– Мы в разводе. Но я прихожу к детям.

Мне требуется несколько секунд, чтобы понять.

– Давно?

– Уже какое-то время.

Я вижу, как в одном из окон отодвигается занавеска и появляется лицо Жоэль.

– А где ты живешь?

– Там же, где мой врачебный кабинет.

– Нам нужно поговорить. Всем троим.

– И что это изменит?

– Нас.

Он выбрасывает окурок в окно и снова заводит двигатель.

– Разве тебе не любопытно? Узнать, что она знает о нем?

– Не хочу о нем говорить. Он того не стоит.

– Тогда поговорим о нас.

Он смотрит на меня и... ничего не говорит.

– Где ты родился? Кто твоя мать?

– Это уже другая история. *Buona notte*¹⁸, Нина.

– Мы отсюда не уедем, – объявляю я, вылезая и хлопаю дверцей сильнее, чем намеревалась.

Иду к воротам. Слышу, как позади меня он выходит из машины.

– Нина!

Я поворачиваюсь. Он смотрит с вызовом. Ни следа угрюмости. Теперь он рад принять бой. Я с облегчением иду к нему. Только если мы начнем говорить друг с другом, только тогда сможем из всего этого выпутаться.

– Зайдешь?

– Скажи ей, чтобы она убралась из дома.

Меня пугает его суровость.

– Вот сам и скажи.

– Нет. Она обвинила меня в убийстве.

– Но как мы можем знать правду, когда ты ничего не рас-

¹⁸ Доброй ночи (*ит.*).

сказываешь?

Он зажигает новую сигарету. Я трактую его молчание как очко в мою пользу.

– Мориц пустил себе пулю, которую заслужил.

– Что ты имеешь в виду?

– О грехах умерших говорить не следует. *Allah yirhamou*

¹⁹. – Его голос звучит мягко, но лицо по-прежнему сурово. – Ты родилась в Германии. Тебе повезло. Ты не имеешь к этому никакого отношения.

– О чем ты? Мориц вовсе не... наоборот. Он рисковал жизнью на войне, чтобы спасти другого человека.

– Откуда ты это знаешь? Ты никогда с ним не встречалась.

– Мне рассказала про него Жоэль.

– Откуда ты знаешь, что это правда?

– У нее нет причин лгать мне.

– Он лгал нам! Он! Твоей матери! Моей матери! Откуда вы знаете, что он сказал правду ее матери?

Он по-прежнему избегает называть Жоэль по имени. Меня это раздражает. Но он прав. Три жизни, три жены, три ребенка. Кем на самом деле был этот человек? Я всегда полагала, что по сути своей мой дед остался тем же человеком, кто покинул Германию. А тогда ему еще не нужно было лгать. Как наивно с моей стороны. Если я оглянусь на собственную жизнь – то я сейчас совсем не та, кем была в восемнадцать лет. Даже если я могла бы вернуться в жизнь той девушки,

¹⁹ Да помилует его Аллах (*араб.*).

я бы этого не хотела. Я не хочу быть даже той, кем была год назад. Но если у меня есть право на такое развитие, то почему же я полагаю, будто другие никогда не меняются? Это похоже на эгоистичную претензию на постоянство в отношениях с другим человеком, но это не любовь. Желание комфортности. Возможно, ты при этом вредишь не только человеку, запирая его в своем воображении, но и самому себе. Потому что новая любовь – это не просто увлекательное открытие другого, но и возможность по-новому открыть себя. Какую-то новую часть своей души, ждущую, когда ее разбудит именно и только этот человек, тот, кто сможет ее распознать. Мы проживаем лишь малую часть заложенных в нас возможностей. Внезапно я завидую Морицу не только из-за стран и культур, которые он повидал, но и из-за полноценной жизни, которую он прожил. Она охватывала противоположные берега Средиземного моря и крайние пределы его «я». Растерянно смотрю на Элиаса, и впервые он тоже кажется мне растерянным. Ему тоже не хватает части Морица.

– Пойдем выпьем? – Его голос вдруг звучит гораздо теплее.

– В доме?

– Нет. На пляже есть бар.

– А Жоэль?

Он не отвечает, даже не качает головой. Дом молчит под шелестом пальм. Жоэль не видно. Если бы я заподозрила, что Элиас так проверяет меня, я настояла бы на разговоре

встроим. Но я чувствую, что он еще не готов открыться перед ней.

– Ладно, один стаканчик, и потом я иду к Жоэль.

* * *

До пляжа несколько минут ходу. Если Мориц ходил гулять к морю, то наверняка шел по этой же узкой дорожке. На набережной, где заканчивается асфальт и начинается песок, стоит небольшой пляжный бар. Крытая терраса с видом на залив, пластиковые стулья, барная стойка.

Гирлянда разноцветных лампочек колышется на ветру, из динамиков монотонно журчит что-то электронное. Молодые люди с аперитивом, никаких туристов, шик обыденности, влюбленные пары. Официант приветствует Элиаса на удивление теплыми объятиями.

– Элиас! Как ты? Мои искренние соболезнования.

Подходит и второй официант с соболезнованиями. Видимо, они очень хорошо относились к Морицу. Я представляю, как Элиас с отцом сидят за одним из этих столиков, на заднем плане – море. Но на этой картине не хватает одного человека – его матери.

Официанту, своему другу, *amico*, он представляет меня как подругу, *una amica*. Без имени, без эмоций. Я не принимаю это близко к сердцу; да я и рада, что официанты не будут считать меня родственницей. Иначе пришлось бы объяснять

историю, которую я не могу объяснить. Элиас выбирает столик на самом краю, пусть немного ветрено, зато не на виду. Я заказываю джин с тоником. Он просит «негрони» и спрашивает прямо, не тратя времени на пустую болтовню:

– Что она тебе рассказала?

– Почему ты никогда не называешь свою сестру по имени?

Он молчит. И я рассказываю, стараясь ничего не упустить, о человеке, который ушел на войну Морицем, а вышел из нее Морисом, но лишь затем, чтобы вскоре попасть на следующую войну. Рассказываю о моей берлинской бабушке, которая забеременела, а он об этом и не узнал, и которая никогда больше его не видела. Рассказываю о Жоэль в Лагере номер 60 и в доме на улице Яффо. Когда я заканчиваю, Элиас смотрит на меня скептически, как бы спрашивая: и это все?

– Что было дальше, я не знаю. Можем спросить у нее.

– Хорошая история, – сухо говорит он.

– Ты не веришь?

– А ты ей веришь?

– Да. Зачем Жоэль лгать?

– Мориц однажды сказал: чтобы исказить правду, обязательно лгать. Достаточно опустить часть. Он научился этому у нацистов.

Он называет его Мориц. Не папа.

– Где он познакомился с твоей мамой? – спрашиваю я.

Он зажигает сигарету.

– Расскажи мне лучше о *твоей* маме.

Я чувствую какое-то внутреннее сопротивление, словно маму защищает стена моей преданности. Хотя это нелогично – он же мамин брат и имеет право узнать о ней. Но потом понимаю причину моего нежелания говорить. Он просто допрашивает меня, чтобы отвлечь. Чтобы не раскрывать ничего о себе.

– Твоя очередь, – отвечаю я, удивляясь собственной наглости. – Расскажи о *твоей* матери.

Элиас смотрит на меня такими глазами, словно я требую, чтобы он положил руку на горячую плиту. Он молчит, упрямо и задумчиво. Интересно, из чего сложена его защитная стена. Из тех же камней, что и моя? Преданность. Честь семьи. И кое-что, что должно остаться в тайне.

– Ты сказал, она из Яффы.

Он не говорит ни да ни нет. Только внимательно смотрит на меня. Как будто я должна вначале заслужить его доверие.

– Как ее зовут?

– Амаль.

По тому, как он произносит ее имя, с горечью и нежностью, я чувствую, что она – ключ ко всему. К тому, что произошло между ним и Морицем.

– Расскажи мне о ней. Пожалуйста.

Глава

12

Нет большей боли в мире, чем потеря родины.
Еврипид

Яффа

Амаль было шесть лет, когда она в последний раз видела родной город. Стояла ясная ночь, это был май 1948-го, примерно в это же время Морис поселился на улице Яффо, в какой-то сотне километров. С борта лодочки, отплывающей из гавани Яффы, силуэты церковных башен и минаретов вдруг показались маленькими и хрупкими. Не осталось почти ни одного освещенного окна, кое-где полыхали костры, а над умирающим городом летела падающая звезда. Амаль вспомнила, как прошлым летом она спала на крыше дома с Ривкой, своей подружкой-еврейкой, и братьями Амаль. Звездное небо, казалось, склонилось над ними, словно защитный купол, а они считали падающие звезды. Загадай желание, сказала Ривка, но никому не говори, иначе оно не сбудется. Но Башар, ее старший брат, разрушил чары, объяснив, что падающие звезды на самом деле – это валуны, летящие

сквозь пространство и вспыхивающие в последний раз, перед тем как сгореть. А теперь Амаль видела те же звезды, что и тогда, но под ее ногами больше не было твердой земли. От угольно-черного моря ее отделяли только деревянные доски рыбацкой лодки. Внутри, крепко прижавшись друг к другу, сидели люди, которых было слишком много для этой лодки, а волны жадно бились о борт. Ноги Амаль насквозь промокли, и она дрожала от страха. Сильные мужчины рыдали, а у женщин уже не было сил успокаивать плачущих детей. Здесь, в море, было прохладно. Что сейчас делает Ривка, гадала она, спит ли она у себя дома или думает о своей арабской подруге? Может, тель-авивские гранаты попадают и в Неве-Цедек, в еврейский квартал около цитрусовых рощ? Отцы Амаль и Ривки, Жорж Бишара и Аврам Леллуш, владели землей в окрестностях Яффы, где росли лучшие в стране апельсины и лимоны. Во время сбора урожая девочки убежали в рощи и выбирали из корзин самые большие апельсины. Потом, сидя на прохладной земле, аккуратно вынимали мякоть, а в апельсиновой кожуре вырезали отверстия, чтобы сделать фонарики. Еще прошлым летом они танцевали вместе на свадьбе под андалузские песни, которые пели их отцы, несколько фальшивя, зато с большим чувством. Амаль вспомнила, что на отце тогда был тот же английский костюм и соломенная шляпа, что и сейчас, а на маме – белое летнее платье, в котором она выглядела как кинозвезда. Когда они поспешно покидали дом сегодня утром, платье осталось ви-

сеть в шкафу вместе со всей остальной одеждой; они взяли лишь два чемодана. И сумку, полную апельсинов.

Амаль была симпатичной, с правильными чертами лица и внимательными карими глазами. Даже в детском возрасте в ее обаянии было что-то взрослое, тихая смышленность, которая мгновенно уступала место страстности, едва она слышала музыку. Больше всего на свете она любила танцевать на бесконечных летних свадьбах. Ее родители не запрещали этого, они даже гордились своей девочкой, когда она подходила ко взрослым женщинам под песни Умм Кульсум ²⁰, а те протягивали ей руки и с улыбкой показывали шаги танца, подбадриваемые барабанщиками и восторженными хлопками гостей. Но когда она с детской серьезностью объявила, что однажды станет знаменитой балериной и пригласит родителей в Париж, Мариам, ее мать, возмутилась, что это не профессия для порядочной женщины. «Но бабушка же танцует!» – возразила Амаль. Действительно, мать Жоржа, Ханна, в свои семьдесят лет была одной из самых неутомимых танцовщиц, особенно когда стала вдовой. Ханна, красившая седые волосы в рыжий цвет и расписывавшая руки хной, была тайной сообщницей Амаль. Родители внушали дочери, что некоторые вещи разрешены в доме, но запрещены за пределами семьи. Однако на следующей свадьбе Амаль снова танцевала с женщинами. Жорж баловал дочь – вызывая

²⁰ Умм Кульсум (1898 или 1904–1975) – знаменитая египетская певица, считается самой выдающейся исполнительницей в арабском мире.

этим ревность двух ее братьев, к которым он относился гораздо строже, – возможно, потому, что понимал ее лучше, чем мать, поскольку сам любил музыку. Дом часто наполняли ритмы рэгтайма, которые он включал на английском граммофоне. А когда отец был в хорошем настроении, они с Амаль танцевали в салоне под эту музыку. Тогда его будто разом покидали все заботы, он снова становился молодым студентом, каким был в Лондоне до войны. Конечно, у такого джентльмена, как он, дочь не должна помышлять о неприличной профессии, поэтому он попытался направить ее музыкальный талант в более цивилизованное русло, подарив на Рождество блокфлейту и пригласив в дом учительницу музыки. Фрау Бухбиндер была светловолосой серьезной женщиной из немецкой колонии темплеров. Амаль училась быстро, но ей надоедало неподвижно стоять перед пианино, и через полгода флейта лежала в углу, а Амаль танцевала с подружкой Ривкой на летних праздниках.

Еще зимой этого года, когда в кафе взрывались бомбы Иргуна и тысячи арабов бежали из Яффы, еврейские и арабские владельцы плантаций подписали пакт о ненападении, чтобы не подвергать опасности урожай. Политическая ситуация была напряженной, но люди по-прежнему жили добрососедски. В общем внутреннем дворе женщины присматривали за детьми друг друга и спорили о повседневных делах. Мужчины вели дела друг с другом, мусульманки в шаббат заглядывали к еврейским соседкам, чтобы зажечь плиту,

а христиане приходили на мусульманское кладбище, чтобы отдать дань уважения умершим. Этот мир создавался веками. И всего нескольких лет оказалось достаточно, чтобы его разрушить.

* * *

Отец Амаль, Жорж, был энергичным предпринимателем с добродушными чертами лица и прекрасными манерами. У него были густые и всегда прекрасно ухоженные усы, настоящие английские ботинки, а костюмы ему шил лучший портной в городе. Он говорил на литературном арабском и на отточенном английском, который освоил в колледже Терра Санта. Со времен учебы в тридцатых годах к его палестинскому акценту примешивался лондонский оттенок, и если прислушаться, то можно было заметить, что и его арабский язык звучал уже иначе, чем раньше. Каждый ребенок в Яффе знал его зеленый джип «виллис», запыленный летом и покрытый грязью зимой. Жорж был уважаемым человеком не просто благодаря земельным владениям Бишары – ведь чем больше земли у семьи, тем выше она стоит в социальной иерархии, – но и потому что он много делал для своего города: не только жертвовал по воскресеньям на церковных службах, но и был другом мэра-мусульманина, которому часто помогал пожертвованиями – на асфальтирование улиц, на городскую библиотеку и суповую кухню в серале. Его же-

на Мариам иногда шутила, мол, его подарки на праздники соседям – индейки, вино, оливковое масло и целые овцы – были более щедрыми, чем еда, которую он покупал для собственной семьи. Он учил своих детей, что единственным настоящим достоянием являются не деньги, а земля. Потому что ее никто не может украсть. Когда случался хороший урожай, он не клал деньги в банк, а докупал еще один участок земли, чтобы посадить новые деревья для следующего поколения, как это делали его предки. И в страшном сне он не мог предположить, что потеряет все это в одночасье.

Arous al-falastin называли они свой город, Невеста Палестины, и *Arous al-bahr*, Невеста моря. В отличие от религиозного и дождливого Иерусалима, солнечная Яффа, с ее газетами, библиотеками, кинотеатрами, театрами и процветающей экономикой, была культурным и экономическим центром Палестины. С тех пор как здесь появились пароходы, владельцы плантаций экспортировали свои цитрусовые по всему миру. Полтора миллиона ящиков в год. Каждый ребенок в Америке знал, что такое яффские апельсины. А каждый ребенок в Яффе изучал их историю: изначально фрукт был привезен из Индии, где он считался горьким лекарством и назывался на санскрите *nāranga*. Арабские торговцы привезли его в Средиземноморье и назвали *an-naranj*. Через Северную Африку он прижился на Сицилии, где местные жители на свой лад переименовали название – *un'arangia*. По итальянскому сапогу он перекочевал на север, а французы и англи-

чане, для которых все круглое было разновидностью яблока, окрестили его *potme d'orange*. Экзотический фрукт достиг Атлантического побережья, а оттуда – уже в облагороженном виде сладкого апельсина – попал в Палестину, и потому на палестинском диалекте его стали называть *al-burtuqal*, что означало просто-напросто «Португалия». В конце XIX века, когда культивирование апельсинов процветало, а растущая еврейская община начала возрождать библейский иврит в качестве повседневного языка, стали искать имя и для этого фрукта. И оно было найдено в Книге Притчей. Там говорится: «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично». Хотя это была лишь метафора, но достаточно красивая, чтобы назвать плод *tapuach zahav*, золотое яблоко. Из него родилось новое слово, легче произносимое, – *tapuz*, тапуз.

Фермеры Яффы выращивали также лучшие в стране дыни, а еще инжир, груши, миндаль, абрикосы, виноград, сахарный тростник и табак. Поля соседствовали с городскими кварталами. Весной вся Яффа так сильно пахла цветущими цитрусовыми, что у многих приезжих перехватывало дыхание. Сразу после рождения матери натирали пастой из цветка апельсина лоб своих новорожденных детей, чтобы у них потом не было аллергий. Позже, когда Амаль вспоминала свой дом, ей достаточно было закрыть глаза, чтобы почувствовать этот аромат детства, который смешивался в ее памяти с благовониями в церкви Святого Антония и кардамо-

новым кофе на кухне бабушки. Большой дом, где она родилась и выросла, находился в южном районе Аджами, вдали от шума базаров и кофеен Старого города. Его стены были из твердого песчаника, прохладного летом и теплого зимой. Высокие голубые арочные окна в османском стиле и балконы, выложенные орнаментальной плиткой. С одной стороны можно было увидеть море, а с другой был разбит небольшой сад, где Жорж выращивал розы. Дом построил отец Жоржа. Теперь Мариам, мать Амаль, наполняла его жизнью – ее салоны были одними из самых популярных в городе. Там выступали музыканты и поэты, и они становились одновременно культурными и общественными событиями – здесь заключались браки, решались споры и собирались пожертвования. Мариам была красивой и необычайно высокой женщиной. Как и Жорж, она происходила из христианской семьи, но в отличие от него, купеческого сына, она росла в крестьянской среде, что определило ее хозяйственный и деловитый характер. Мариам была более собранной и рассудительной, нежели Жорж; в то время как он часто впустую растрачивал свою кипучую энергию, она обладала неисчерпаемыми запасами сил. Амаль не помнит, чтобы мама когда-то сидела без дела и чтобы дом пустовал. Хлеб каждое утро пекла бабушка в глиняной печи, и вообще она была главной на кухне. Только сладости, подаваемые на салонах, Мариам пекла сама, особенно Амаль любила маамуль – круглые печенья с апельсиновой цедрой, корицей, кардамоном и финиковой

начинкой.

* * *

Цитрусовые рощи Бишары лежали к северо-востоку от города, в районах Абу-Кабир и Аль-Басса, где Яффа встречалась с молодым Тель-Авивом. Всего несколько десятилетий назад шестьдесят шесть еврейских семей купили совместно песчаные дюны у ворот Яффы, чтобы построить там современный пригород. В апреле 1909 года в газетах появилась ставшая скоро знаменитой фотография: хорошо одетые мужчины стоят в песках и разыгрывают по жребию участки нового города – на шестидесяти шести ракушках. Кажется, что они находятся посреди пустыни. Это происходило примерно там, где сегодня пролегает оживленный бульвар Ротшильда. Если фотограф повернул бы камеру вправо, была бы видна железнодорожная станция Яффы и красные черепичные крыши Неве-Цедека. За дюнами находились виноградники и цитрусовые рощи, а слева – деревня Шейх Муваннис с банановыми садами и пшеничными полями, на руинах которой позже будет построен университет. Тель-Авив был призван стать антитезой четырехтысячелетней Яффы – белым и европейским городом с прямыми аллеями, архитектурой в стиле баухаус и курсирующими точно по расписанию автобусами. Его называли «Холмы весны», хотя он был совершенно плоским. В арабской Яффе евреи и жили, и

вели бизнес, хотя и оставались меньшинством, однако в еврейском Тель-Авиве не поселился ни один араб. Они считали Тель-Авив социалистической колонией, ну а тельавивцам южная Яффа казалась грязной и опасной. Что, конечно, не мешало всем посещать бордели на другой стороне. Благодаря притоку еврейских иммигрантов пригород быстро рос и вскоре выделился в самостоятельный город. Там ели гефилте фиш, чолнт ²¹ и борщ, а в Яффе по-прежнему предпочитали хумус, фалафель и пахлаву. Сегодняшняя Яффа – или то, что осталось от Невесты Палестины, – является частью Тель-Авива. И почти никто не помнит, что основатель государства Бен-Гурион, урожденный Давид Грин из Плоньска, однажды прибыл в порт Яффы, щуплый двадцатилетний парень, которого встретили крепкие руки арабского докера, когда он спустился по трапу с борта корабля в одну из шлюпок. Он был одним из тысяч других евреев, предполагавших, что попадут в безлюдную пустыню, но ошеломленных шумом, красками и запахами восточного города.

* * *

Семья Ривки Леллуш иммигрировала из Северной Африки в XIX веке и купила землю рядом с цитрусовыми рощами Бишары, которые жили в Яффе на протяжении одиннадцати

²¹ Чолнт – блюдо на шаббат из мяса, овощей, крупы и фасоли.

поколений. В доме Леллуш говорили по-арабски на диалекте алжирских евреев. Они ходили в хаммам вместе с мусульманами и христианами, чтобы за кальяном обсудить дела. С тех пор как дед Амаля одолжил деду Ривки деньги, чтобы выкупить его сыновей с османской военной службы, семьи подружились. Когда в театре «Альгамбра» выступала великая египтянка Умм Кульсум, обе семьи в зале подпевали на арабском. Аврам Леллуш, отец Ривки, человек красноречивый, двух слов по возможности избегал: *aravim* (араб), когда говорил с евреем, и *yahud* (еврей), когда говорил с арабом. Он не доверял этим словам, которые прочерчивали границы в головах. Британская перепись населения свалила в одну кучу религиозных евреев Иерусалима с социалистическими сионистами на побережье, хотя то были люди из совершенно разных миров. А как «арабов» регистрировали не только крестьян и городскую знать, но заодно и всех кочевников скопом – правда, с пометкой, что лишь немногие бедуины являются настоящими арабами и большинство нееврейского населения принадлежит к «смешанной расе», однако раз они говорят по-арабски, то и называются арабами.

Для Леллуша и его друга Жоржа все были *al ahl al falastin*, народом Палестины. Это была левантийская мозаика с различными религиями и общей культурой, которая мыслила веками, а не десятилетиями. Но теперь под угрозой оказалось то главное, что издавна сплачивало людей, – уважение к соседу. Их самоочевидное, хотя и не лишённое проблем

искусство жить и позволять жить другому было, возможно, самым важным достижением людей на Святой земле, где маленькие чудеса были частью повседневной жизни, но где и сумасшедшие были чуть безумнее, чем в других местах.

* * *

Когда соседи стали врагами? Кто бросил первый камень, с чего все началось? От Исаака и Измаила, от Иисуса или Мохаммеда? Нет. Вначале, говорит Жорж, были люди, любившие деньги больше, чем землю, – богатые мусульмане и христиане из Иерусалима, Бейрута и Стамбула. Для отца Жоржа они были предателями. Потому что торговали землей, не думая о тех, кто ее обрабатывал, – об арендаторах, феллахгах. Он говорил: «Владей лишь тем количеством земли, какую могут обработать твои сыновья. Тогда ты никогда не продашь ее, ибо будешь любить каждое дерево, как будто в его ветвях течет твоя кровь».

На протяжении веков было заведено, что арендаторы оставались на полях даже при смене владельца поля. Их жизнь текла в ритме времен года, внуки пожинали то, что посеяли деды. Все изменилось в конце XIX века, когда сионисты принялись скупать земли и строить еврейские поселения. Поначалу они были желанны в Палестине. Ведь кроме уже возделываемых земель были пустоши, болота и степи. Но с ростом цен на землю даже плодородные поля ста-

ли просто деньгами. Некоторые покупатели нанимали посредников, чтобы не привлекать внимания. Местные жители слишком поздно поняли, что эти иммигранты из Европы и России приехали в страну не гостями, а чтобы основать собственное государство. С собственными партиями, профсоюзами, компаниями и собственным языком. Феллахи, в основном мусульмане, были нужны лишь на первых порах, но постепенно их заменили еврейскими работниками. Одним выдали небольшую компенсацию, а других насильно изгнали с их полей. И вскоре они появились на улицах Яффы поденщиками, попрошайками и ворами. Земля была их матерью. Потеряв ее, они потеряли и свое достоинство.

* * *

В кафе и в газетах все громче звучали призывы к сопротивлению. Некоторые мужчины решались на насилие. Каждая жертва разжигала новую вспышку гнева, за насилие мстили насилием. И хотя большинство людей держались спокойно, но страх и ненависть разрастались в сердцах. Люди искали защиту в собственной общине. Два национализма столкнулись друг с другом, как неудержимая сила наталкивается на непоколебимую стену. Жорж всегда успокаивал людей, если соседи затевали разговоры о предательстве. Его семья давала работу на полях изгнанным людям – в той мере, в какой могла себе это позволить. Когда разъяренные кре-

стьяне напали на Хеврон, чтобы перебить всех евреев, Жорж пошел к Леллушу с соболезнованиями. А когда один из рабочих в поле, воздев к небу указательный палец ²², заявил, что евреи понимают только язык насилия, Жорж пристыдил его, напомнив о мусульманах Хеврона, которые прятали своих еврейских соседей от агрессивного сброда.

«Ты слишком долго жил в Лондоне, – говорили люди Жоржу, – наша родина катится в пропасть! Если мы ничего не сделаем, то станем меньшинством в собственной стране! Зачем эти проклятые англичане пообещали кому-то кусок земли, на который у них самих нет никаких прав! Отдали бы лучше свою Шотландию!» В 1917 году, когда министр иностранных дел Великобритании лорд Бальфур пообещал Всемирной сионистской организации еврейскую родину в Палестине, в стране проживало семьдесят тысяч евреев, около десяти процентов от всего населения. Через тридцать лет их было уже шестьсот тысяч. Но арабы по-прежнему составляли большинство – две трети. И евреи владели только семью процентами земли.

В конце 1930-х годов старший брат Жоржа поддержал арабское восстание. Аммо Башар, любимый сын своего отца, организовывал забастовки, прятал в доме подпольщиков и контрабандой перевозил оружие. Во время рейда в гавани он был застрелен британским солдатом. Арабские национали-

²² У мусульман воздетый к небесам палец – символ единобожия: «Нет иного Бога, кроме Аллаха».

сты прославили его как мученика. Британцы пришли в дом родителей Башара и Жоржа, выгнали вон семью и взорвали переднюю часть дома, чтобы преподать всем урок. Однако отца Жоржа это не сломило. Он восстановил дом с помощью соседей. Но следующей зимой умер от туберкулеза – хотя многие поговаривали, что от разбитого сердца. Стоя у его могилы, Жорж ощутил, как на плечи его ложится непомерная тяжесть. Он унаследовал семейное дело, женился, а на следующий год родился его первенец. Жорж дал мальчику имя в честь своего убитого брата. Башар. С тех пор, согласно палестинской традиции, Жоржа называли Абу Башар, отец Башара. И каждый раз, когда кто-то произносил это имя, Жорж вспоминал об убитом брате. Но он решил не тратить свое время на проклятую политику, а посвятить его семье. Ему хотелось жить. И показать своим детям, что есть лучший путь в будущее. Однажды англичане устанут и уйдут, думалось ему, и тогда в стране все станет проще. «Мы все – двоюродные братья: мусульмане, христиане и евреи», – говорил он детям. Именно это и есть истинный дух Святой земли, и настоящие патриоты учатся этому у дедушек и бабушек. «Не поддавайтесь ненависти. Любите соседей. Так написано во всех трех священных книгах».

Жорж по-прежнему верил в демократическую Палестину для всех. Аврам Леллуш, напротив, все больше узнавая об ужасах Холокоста, становился убежденным сионистом. Он считал, что страна должна открыть границы для всех евре-

ев мира, чтобы защитить их от преследований. Жорж возражал ему, что Палестина попросту не сможет принять всех преследуемых евреев мира. Иммиграцию придется наконец ограничить, иначе начнется открытая гражданская война. Не Лондон должен определять квоты, а местные жители.

* * *

Жорж не был наивен. Он осознавал уязвимость своей общины, своего сообщества. В деревнях мало кто понимал, что такое нации и границы. Люди хранили верность семье или деревне. Высшие классы в городах тоже не выступали единым фронтом, здесь клан был важнее нации. Кланы Хуссейнов, Нашшиби и Халиди боролись друг с другом за власть и должности. Сионистское движение создало мощные национальные ополчения, а арабы были ослаблены и раздроблены после того, как британцы подавили их восстание. Многие крестьяне, не читавшие газет, ничего и знать не хотели о грядущей катастрофе, они привыкли веками жить под иностранным владычеством, сохраняя местную автономию. И лишь с опозданием постигли принципиальное отличие новой ситуации от прежних времен. Османы и британцы приходили управлять страной и собирать налоги. А не для того, чтобы расселять в стране свой народ.

Когда в ноябре 1947 года Жорж открыл газету, он пришел в ужас. Организация Объединенных Наций в Нью-Йорке разработала план раздела Палестины через головы палестинцев. Линии границ на карте вообще не соотносились с реальностью; они произвольно проходили через всю страну, разделяя места, которые традиционно были едины. 608 000 евреев получали 56 % земли, а 1,3 миллиона арабов – только 43 %. Иерусалим и Вифлеем должны были находиться под управлением ООН. Еврейская часть де-факто становилась двунациональным государством, в котором арабов будет почти столько же, сколько евреев. И самое абсурдное: чтобы в еврейской части получилось еврейское большинство, картографы просто отрезали Яффу с ее почти стотысячным населением от всего окружения – от окрестных деревень, с которыми она торговала и где находилось множество плантаций; так получился арабский островок посреди еврейского государства. Раньше можно было проехать на лошади на верблюжий рынок в Газе, на автобусе на пасхальную ярмарку в Иерусалиме или на такси в театр в Бейруте. А теперь этнические границы делили страну на части. Политики говорили о «переселении» и «передаче», как будто людей можно перевозить, как товары. Всего несколько месяцев назад, когда британцы разделили Индию и предоставили ее самой себе,

сотни тысяч людей были убиты в жестоком хаосе такого «обмена населением» между индусами и мусульманами. И все же арабские и еврейские крестьяне Яффы по-прежнему пили чай вместе. На Рождество 1947 года семья Леллуш из еврейского квартала Неве-Цедек пришла в гости в дом Бишары в Аджамии. Ривка играла с Амаль в саду, пока родители изо всех сил старались говорить не о политике, а об урожае. Затем они вместе пошли в кинотеатр «Аполло» на мультфильм с Микки-Маусом.

Через несколько дней, 4 января 1948 года, на площадь Часов в центре города въехал грузовик с апельсинами. Два еврея, переодетые арабами, припарковали его рядом с Новым сералем, бывшей резиденцией османского правителя. Они вышли из машины, скрылись в толпе, а вскоре город сотряс мощный взрыв. Стены серала рухнули, похоронив десятки людей. Жорж был на базаре с Амаль и Башаром, когда земля задрожала. Он приказал Башару отвести сестру в безопасное место, а сам побежал на помощь.

Когда Жорж позже вернулся домой, его волосы были пыльно-белыми, а рубашка в крови; он рассказал, что переносил тела умерших к машинам «скорой помощи», но умолчал, что парамедики отказались забирать их, потому что они ухаживали за ранеными, которые еще дышали. Там были и дети, потому что в серале располагалась столовая для детей бедняков. В конце концов они повезли трупы в больницу на своих машинах; Жорж трижды ездил туда и обратно с без-

дыханными детьми на руках. «Слава Богу, что не наши», – сказала его жена. Он посмотрел на нее со слезами на глазах, не зная, что ответить.

Леллуш выразил соболезнования мусульманским и христианским деятелям и пожертвовал деньги пострадавшим. «Бегин – террорист, – говорил он, – Хагана никогда бы не сделала такого». Но ему больше не верили. Пролитая кровь разрушает доверие. Террор возымел эффект. В последующие недели, когда в городе взрывалось все больше и больше бомб, тысячи людей устремились с чемоданами на вокзал и в порт, опасаясь за свои семьи. Никто не мыслил об отъезде навсегда, все думали, что вернутся, когда ситуация успокоится. Представители высшего класса, у кого имелись дома в Бейруте или Каире, уехали первыми. Затем – средний класс, кто мог на время поселиться у родственников в Наблусе или Акко. Все больше и больше магазинов закрывалось, так что рабочие и служащие оставались без работы. Амаль теряла одну подругу за другой.

* * *

А потом случилась Дейр-Ясин. Когда-то это было просто название мирной деревни недалеко от Иерусалима. Ее жители заключили договор о ненападении с соседней еврейской деревней Гиват-Шауль. Утром 9 апреля 1948 года сионистские военизированные формирования «Иргун» и «Лехи» на-

пали на спящих жителей, забросали дома ручными гранатами, убили мужчин, женщин и детей. Живых собрали на деревенской площади, некоторых расстреляли, а остальных погрузили на грузовики. Бойцы ограбили дома, вынеся ценные вещи и деньги, затем сложили убитых в кучу и подожгли. Тех, кто остался жив, доставили на грузовиках в Иерусалим и торжественно провезли по улицам. Пленники были в шоковом состоянии, еврейские прохожие плевали и бросали в них камни. Пятьдесят пять сирот, чьи родители были убиты, высадили у Яффских ворот.

В новостях говорили о более чем двухстах погибших. Позже будут спорить о точной цифре. Обе стороны сильно меняли число погибших в собственных пропагандистских целях. Их было только сто один, сказали они. Или сто двадцать пять. Но какое это имеет значение для умерших и для их родственников, которые не смогли их даже похоронить? В газете «Нью-Йорк таймс» видные евреи, включая Альберта Эйнштейна и Ханну Арендт, осудили ополченцев как террористов. Их командиры, родившиеся в Российской империи, Мечислав Бигун и Ицхак Езерницкий, не испытывали никаких угрызений совести. Ни одна газета не написала об ортодоксальных евреях из соседней деревни, которые прибежали и в ужасе кричали бойцам: «Воры! Убийцы! Это мирные люди! У нас было соглашение! Что вы наделали?»

Дейр-Ясин стала сигналом. Весть распространилась по стране точно лесной пожар; страх был заразен, как вирус.

Амаль слышала, как по улице Хильве едет машина с громкоговорителем на крыше. Резкий голос с иностранным акцентом призывал арабов увезти своих женщин и детей в безопасное место, чтобы их не постигла беда. Амаль застыла в шоке, пока Мариам не взяла ее на руки.

– Не бойся, *ya habibti*²³, не слушай их, с нами ничего не случится.

Но все больше и больше арабов паковали чемоданы. Мужчины боялись за честь жен, матери – за жизнь детей. На улицах и рынках Палестины можно было увидеть семьи, толкающие детские коляски, груженные коробками и ценными вещами. В Яффе все больше и больше людей стекалось в гавань – только открытое море обещало безопасность. Молодые люди баррикадировали улицы мешками с песком. Мрачные, отчаянные, но плохо оснащенные бойцы. Еще недавно они работали пекарями, водителями автобусов или сборщиками апельсинов. Их поддерживали добровольцы из Арабской освободительной армии – небольшой группы иракских и сирийских наемников, имевших дурную репутацию в Яффе, потому что они приставали к женщинам и занимались грабежом. Было известно, что палестинское Соппротивление несет потери по всей стране. В деревнях и городах действовали добровольцы, но спонтанно и не скоординированно, в то время как сионистское ополчение было лучше обучено, организовано и оснащено. Радио Дамаска и радио Каира

²³ Любимая моя (араб.).

твердили, что арабские армии вторгнутся в Палестину, как только уйдут британцы. Но здесь, в Яффе, катастрофу было уже не остановить.

Жорж забил окна досками. Он спросил жену, не хочет ли она уехать. Мариам ответила: «Мы остаемся. Это наш дом. Только трусы убегают». Башар, старший брат Амаль, которому еще не исполнилось и десяти лет, рвался присоединиться к боевикам. Жорж приказал всем не покидать дом.

* * *

25 апреля 1948 года началось наступление на умирающий город. Из Тель-Авива Иргун обстреливал Яффу минометным огнем. Снаряды били по домам в течение трех дней и ночей. Нигде уже не было безопасно. Больницы перестали работать. Десятки тысяч людей, которые до сих пор упрямо оставались в городе, теперь обратились в бегство. В Маншии, на северной окраине города, защитники яростно удерживали свои позиции. Они выдержали первые атаки. Но затем сионисты изменили тактику. Вместо того чтобы наступать по улицам, они взрывали стены тесно построенных домов и прокладывали себе путь из комнаты в комнату.

В то же время Хагана атаковала деревни вокруг города. Салама, Кафр-Ана, Язур. Ополченцы окружили их с трех сторон, оставив открытым одно направление. Громкоговорители требовали от жителей покинуть дома. Одного упоми-

нания о Дейр-Ясине было достаточно, чтобы вызвать массовую панику. Тысячи беженцев заполнили дороги на восток. Когда деревни, снабжавшие Яффу продовольствием, пали и обезлюдели, в осажденный город пришел голод. Продукты стали баснословно дороги. Поезда и автобусы перестали ездить. Дети не могли попасть в школу, а роженицы – в больницу. Полицейских почти не осталось, вору и мародеры наживались на крахе общественного порядка.

Оставшиеся арабские жители бежали в центр. Последнюю надежду они возлагали на британскую армию, которая подтянула танки, чтобы остановить сионистов. Но время было против арабов. 15 мая заканчивался Британский мандат. «Вы хотите вернуться домой живыми или в гробу?» – кричали в мегафон бойцы Иргуна британцам. Они взрывали дома, чтобы перекрыть дороги, забирались на танки и бросали внутрь динамитные шашки. Британцы отступили.

* * *

Что в конце концов заставило Жоржа и его жену бежать? Возможно, это был разговор с другом, Юсефом Хейкалом, мэром, который отвез на корабль собственную семью. Яффа падет, говорил он, британцы уступят Невесту моря сионистам. Но когда война закончится, все вернутся в свои дома. Возможно, Жорж не хотел видеть, как его любимый город капитулирует под натиском вражеского превосходства.

Последней каплей стало беспокойство за старшего сына.

Ночью Башар убежал из дома. Жорж и Мариам искали его повсюду и наконец нашли на блокпосту в Маншие. Один из работников Жоржа, ставший бойцом, отвел их к мальчику.

– Он слишком молод, чтобы убивать, и слишком молод, чтобы умирать.

На поясе у Башара висели ручные гранаты, нелепо хлопавшие по его маленькому телу.

– Иди домой, – велели ему старшие.

– Я не трусливая собака, – огрызнулся Башар. – Если мы не будем бороться сегодня, завтра у нас не будет родины.

Мариам схватила его за воротник, втащила в джип, и Жорж поехал обратно по разбомбленным, вымершим улицам. Втайне он гордился сыном. Но в этот момент Жорж принял решение. Он был не против сам умереть, сражаясь за Яффу, даже напротив – он был бы горд. Но он никогда бы не простил себе, если бы не смог защитить своих детей.

* * *

Стояло нереально тихое утро. Громко лязгнул замок, когда Амаль вышла из дома вместе с братьями, а Жорж запер дверь. Ни свиста снарядов, ни сотрясений, ни рушащихся каменных стен. Только птицы щебетали в саду. Жорж отдал Мариам ключ. Она положила его в карман платья, а он взял чемоданы и сумку с апельсинами. Таксист, который все-

гда возил их в Бейрут и Иерусалим, уже давно уехал. Зеленый джип они просто оставили. Это будет небольшое путешествие, сказала Мариам, на корабле. Съездим в Бейрут к тете Мэй.

– Мы надолго уезжаем? – спросила Амаль.

– Скоро вернемся, – ответила бабушка.

Амаль, которая еще не знала, что эта фраза будет сопровождать ее всю жизнь, увидела, что бабушка отвернулась, чтобы скрыть слезы. Это не были слезы горя – они придут позже. Но слезы стыда.

Амаль навсегда запомнила путь до гавани, который в то утро показался ей как никогда долгим. По обычно оживленным улицам Аджами бродили только собаки. Амаль подумала о своих двух кошках, которых пришлось оставить в саду, потому что отец запретил ей брать их на корабль. Она держала за руку младшего брата Джibriля, а Башар с мрачным выражением лица нес на плече чемодан. Пахло дымом и мусором; и пожарные, и мусорщики перестали работать. Они шли мимо закрытой витрины аптеки «Аль-Камаль», мимо молчаливых каменных стен и пустых садов. Улица Хилве потеряла все свои слова. Там, где раньше на магазинах и кафе смешивались все языки города – арабский, английский, идиш, иврит, французский и итальянский, – теперь стояли только боевики со старыми винтовками. Ставни пекарни «Абулафия», круглосуточно продававшей хлеб, были закрыты. Каждая подробность того утра отпечаталась в па-

мяти Амаль, словно сон или фильм, где каждую мелкую деталь показывают крупным планом, но в то утро все казалось ей нереальным. Воробьи, подбирающие объедки хлеба возле булочной. Перепачканная первая страница газеты «Фаластин» в сточной канаве – эту газету ее отец всегда читал по утрам в кафе – и запах пороха, долетавший с севера. Плюшевый мишка, выпавший из доверху набитой детской коляски, которую мужчина толкал через пустой перекресток. А еще люди, бегущие из северных кварталов, с совершенно неопи-суемым выражением в широко распахнутых глазах. Страх смерти. Это больше не был город Амаль, и фактически она была одной из последних, кто видел прежнюю Яффу: скоро старый указатель «Улица Хильве» – верхняя строка на ан-глийском, средняя на арабском и нижняя на иврите – заме-нят на новый, «Улица Йефет», – иврит сверху, арабский в середине и английский внизу. Театр «Альгамбра» с ослепи-тельно-белым фасадом в стиле баухаус вскоре станет кино-театром «Яфор». А иммигранты, не знающие ни слова по-арабски, заселятся в дома, владельцы которых полагали ско-ро вернуться.

Амаль чуть не упала на скользком тротуаре. В нос уда-рила тошнотворная вонь. Горы мусора скопились на изви-листых улочках Старого города, ведущих к гавани. На по-рогах домов сидели матери, бежавшие с детьми на руках из разбомбленных домов, и старики, которые уже не знали, ку-да податься. Внизу, на портовой площади, между домами и

берегом теснилась огромная масса народа. Амаль погрузилась в море колышущихся тел и в испуге крепко ухватилась за руку отца, который прокладывал себе путь сквозь толпу. Над забитой людьми площадью лежало мрачное, нереальное безмолвие. Когда-то воздух здесь переполняло живое многоголосье – пение матросов, возгласы рыбаков, нахваливающих улов, разнообразные наречия путешественников, – а теперь слышались только пугающие звуки: сиплые крики людей, проталкивающих к лодкам, вопли и ругань; шум возникал внезапно и так же неожиданно смолкал, а потом вспыхивал с новой силой, когда на Старый город падал снаряд, – женщины кричали от страха, и толпа теснилась к воде. А там орали моряки, протягивая руки, чтобы втащить мужчин, женщин, детей и стариков на прыгающие на волнах лодки. Жорж прорывался вперед, держа за руку мать, а последней шла Мариам, толкая перед собой троих детей. Он выкрикивал название итальянского парохода, который должен был доставить их в Бейрут, «Мария Тереза!» – и в ответ ему откуда-то крикнули: «Мария Тереза!» Они добрались до причала, где матросы теснили в сторону людей, желавших попасть на качающуюся лодку. Жорж помахал билетами:

– «Мария Тереза»!

Матросы, уже собравшиеся отчаливать, подхватили Амаль, Джибриля, чемоданы и бабушку, и вот они оказались в слишком маленькой лодке, среди слишком большого количества людей. Двигатель завыл. Они не проплыли и два-

дцати метров, как волна перехлестнула через борт и пассажиров охватила паника. Все устремились к другому борту, лодка медленно накренилась, а потом в считанные секунды опрокинулась. Внезапно дно лодки под ногами исчезло. Все оказались в воде. Плавать умели лишь немногие. Как Жоржу и Мариам удалось спасти свою семью на Скале Андромеды²⁴, они и сами не поняли, но каким-то образом это получилось. Чемоданы затонули вместе с лодкой, какая-то женщина выкрикивала имя дочери.

Чуть позже итальянский пароход на их глазах поднял якорь и уплыл. Весь день они провели в гавани вместе с другими людьми, в то время как с севера, из Маншии, доносился шум битвы – все громче и сильнее. Выстрелы, взрывы, падающие стены. Ужас охватывал людей в порту. Они были беззащитны под открытым небом. Жорж перебегал от одной лодки к другой, чтобы найти возможность уплыть, но таких, как он, была тьма.

Из Маншии на портовую площадь продолжали стекаться люди – все больше и больше. Поезда не ходили, свободным оставался только выход к морю, и последние жители покидали свои дома или то, что от них осталось. *Al bahr, al bahr*, к морю, к морю! В Газу, Бейрут или Акку; никто не знал, где еще безопасно, но в любом месте казалось безопаснее, чем здесь. Люди смотрели на старые стены и не могли поверить.

²⁴ Легендарная Скала Андромеды – небольшой скальный утес, торчащий из воды в портовой бухте Яффы.

Их гостеприимный город обратился в город прощания.

Солнце уже опустилось над морем, когда Жорж наконец нашел шесть мест для своей семьи, по абсурдной цене, которую он заплатил не раздумывая. Рыбацкая лодка должна была отправиться на север, в Акку, а оттуда в Бейрут, *иншаллах*. Когда они отчалили, на гавань опустилась темнота. С моря были видны огни горящих домов Маншии. Другого света в Яффе и не было. Тель-Авив, напротив, был ярко освещен. Небо раскинулось над головами, бескрайнее и безразличное, Амаль увидела, как над башней церкви Святого Петра скользнула падающая звезда.

* * *

Рыбак взял курс в открытое море, а затем повернул на север. Из Тель-Авива прогремел залп, прощальный, утонувший в ночном черном море. С лодки ответили проклятиями и выключили позиционные огни. Бабушка шептала «Отче наш», пассажиры-мусульмане читали шахаду. Затем побережье Палестины растворилось во тьме, и Амаль погрузилась в лихорадочный сон без сновидений. Вскоре она резко проснулась, чувствуя, словно чего-то не хватает. Почему прекратилась сильная качка? И вдруг поняла: мотор не работает. Раздавались встревоженные голоса мужчин, тщетно пытающихся починить его, а затем, в жуткой тишине, – лишь удары волн о борт.

Глава

13

Никто не знал, что ждет их за пляжем. Было еще темно, когда мужчины вытащили лодку на берег и все выбрались из нее, замерзшие, растерянные, но живые. Где мы находимся, спросила Амаль у отца, который этого не знал. Где-то между Тель-Авивом и Хайфой, ответил рыбак, может быть, около Тантуры, Ум-Халида или Кесарии. Продираясь через кустарник, они взобрались на дюны. Жорж наказал детям держаться вместе. Амаль взяла бабушку за руку. Они нашли извилистую тропинку, по которой двинулись через чертополох и колючки, и наконец, когда рассвело, показались силуэты домов. Даже в полутьме было видно, что это арабская деревня. Старые каменные стены, куполообразные крыши, минарет на фоне утреннего неба. Люди с облегчением поспешили туда. До них доносились голоса и шум двигателей. Кто-то выкрикнул что-то в сторону деревни, но Жорж схватил кричащего за руку:

– Тихо!

Все остановились. И только теперь разобрали, что обрывки слов, которые они слышали, были на иврите. Короткие военные приказы. Затем тишину разорвал взрыв. Все припали к земле. Мариам бросилась на Амаль, чтобы прикрыть

ее своим телом. Почва содрогнулась. Второй взрыв, затем третий. Камни градом сыпались сверху. Взрывали дома. Они медленно поползли назад, через колючки, через пыль, через оливковую рощу, под громом взрывов. Все думали об одном: а где же жители? Что с ними сделали? И что будет, если нас найдут? Они укрылись в оливковой давилльне – тридцать обессиленных человек упали на земляной пол и тут же заснули. Только двое мужчин, рыбак и Жорж, остались дежурить у окон, усталыми глазами всматриваясь в поля. Амаль и Джибриль прижались к теплomu телу матери. Позже Жорж вместе с Башаром и другими мужчинами отправились на поиски какой-нибудь еды. Женщины хотели тоже пойти с ними, разгорелся спор, и мужчины настояли на своем. Они вернулись с недозрелыми фигами, травами и ягодами. Вооруженных людей они не видели, но не видели также ни крестьян, ни женщин на полях. Только цикады стрекотали. Оглушительная тишина.

С наступлением темноты они отправились в путь, на восток, не понимая, где именно находятся. Они знали, что арабское государство должно возникнуть где-то дальше вглубь страны, в направлении Иордана. И надеялись, что там смогут укрыться от еврейских ополченцев. Их группа шла по проселкам, через поля, навстречу восходящей луне. Ноги горели. Потом наткнулись на дорогу. По ней дошли до перекрестка, где и обнаружили дорожные указатели. Позже Амаль часто задавалась вопросом, что случилось бы, если

бы они тогда повернули на восток, с рыбаком и остальными. Если бы Мариам не настояла на своем. Ее родители жили в Лидде, в городке к югу от того места, где они оказались, и не очень далеко от Яффы, так что вместо похода в неизвестность она решила искать убежища у родителей. Она этого даже не стала предлагать, нет, просто решила, и ничто в мире не могло ее разубедить. Взяв за руки Амаль и Джibriля, она велела Башару следовать за ней. Жорж и его мать подчинились. Все-таки Лидда находилась на территории, которая, в соответствии с планом раздела, должна была отойти арабскому государству. Была надежда, что арабские бойцы защитят город – когда они наконец-то придут на помощь.

Поначалу казалось, что судьба благоприятствует плану. Их подобрал грузовик и довез в соседнюю Рамлу. Оттуда было всего несколько километров пешком. Издалека Лидда выглядела прежней, какой Амаль помнила ее по визитам к бабушке и дедушке, – сельская подружка шумной Яффы с ее кафе и клубами. Лидда мирно лежала на равнине, окруженная кукурузными полями, абрикосовыми и миндальными деревьями. Широкие аллеи акаций и низкие дома, каменные стены которых обвивала дикая бугенвиллея. Старый рынок, где окрестные крестьяне предлагали фрукты, овощи и животных – ослов, верблюдов и кур. Дом родителей Мариам был скромнее виллы Бишары: одноэтажное квадратное здание из светлых камней с зеленой входной дверью. Над дверной рамой Амаль увидела каменный барельеф, который ей

всегда нравился. Святой Георгий, змееборец верхом на коне, покровитель палестинских христиан. В 303 году он был замучен и обезглавлен римлянами в Лидде, на родине его матери, потому что не отрекся от своей веры. По легенде, его стойкость произвела столь сильное впечатление на жену императора Диоклетиана, что она приняла христианство. Когда Мариам познакомилась с Жоржем, его имя показалось ей добрым знаком. Дом ее родителей находился напротив церкви Святого Георгия, возведенной над могилой святого, бок о бок с мечетью Аль-Хидр. Неподвижные головы пальм возвышались над домами, в залитом солнцем городе ощущалось напряжение, висело ожидание беды. Улицы были полны людьми. Старики и больные лежали в тени на матрасах, женщины сидели перед газовыми горелками, дети с давно не мытыми волосами бегали вокруг. Беженцы из деревень, окружающих Яффу. Салама, Джариша, Кафр-Ана.

* * *

Вопреки их ожиданиям, хозяева приняли их со смешанными чувствами. Мона, сестра Мариам, поблагодарила Бога, что видит их живыми, и сразу же захлопотала с угощением. Они уселись в круг за низким столиком и жадно принялись поглощать лаваш с хумусом, заатаром и оливковым маслом. Под высоким сводчатым потолком стояла приятная прохлада. Но Ибрагим, отец Мариам, явно не обрадовался их по-

явлению. Он всегда отличался от Жоржа: если один был обходительным торговцем в английском костюме, то другой – гордым крестьянином в полосатом халате и куфии, сроднившийся со своими полями и укорененный в традициях. Отношения между ними никогда не были простыми, что объяснялось отчасти спесью, которую городской класс питал к феллахам. Ибрагим же стал сам себе хозяином, прикупил немного земли, и этого было достаточно, чтобы перестать работать на других землевладельцев. Когда он пренебрежительно отозвался о беженцах из окрестных деревень, Жорж понял, что тесть упрекает и лично его.

– Они бежали, как овцы.

– Ты что, не слышал про Дейр-Ясин? Про Эйн-Зейтун и Балад-эш-Шейх?

– Я лучше умру на своей земле, чем отдам ее врагу.

Жорж видел в глазах Ибрагима обвинение в предательстве. В те дни многие крестьяне обвиняли в этом представителей городского класса: мол, они спасались благодаря своему богатству, бросая народ на произвол судьбы.

– Я что, должен был отправить их в море одних? Твою дочь, твоих внуков?

– Я предупреждал тебя с самого начала. Сперва они покупают наши семена, а теперь стреляют в нас. Ты слишком любишь комфорт, Абу Башар. Боишься стать мучеником, как твой брат.

Никто ему не возразил. Легла тяжелая тишина. Амаль, не

знавшая, что означает Дейр-Ясин, чувствовала только, что им здесь не рады. Затем пришли ее двоюродные братья Амир и Хабиб, уже почти взрослые мужчины. Пока все обнимались, Жорж задумчиво подошел к радиоприемнику и переключил станцию. Дедушка слушал Радио Дамаска, где круглосуточно звучали патриотические песни, а диктор призывал к героическому сопротивлению сионистам. Жорж переключился на «Голос Британии», где предлагалась более достоверная информация. Затем на арабскую службу Би-би-си и, наконец, несмотря на протесты Ибрагима, на «Голос Хаганы», поскольку понимал иврит. Амаль подбежала к дивану, где он сидел, забралась к нему на колени и стала слушать иностранный язык. Она первая заметила перемену: его небритое лицо будто устремилось к радиоприемнику, глаза лихорадочно заблестели, а губы задергались, словно повторяя каждое слово, – казалось, вся жизнь вытекает из него. Отец замер, как на фотографии, навсегда запечатленной в памяти Амаль: безжизненное, застывшее в шоке лицо, затем оцепенение перешло в дрожь, которая от губ и подбородка передалась глазам, и вот затряслась вся голова. Теперь это увидели и все остальные в комнате.

– Что такое, отец? – спросил Башар.

Жорж не осмеливался посмотреть детям в глаза. Он спрятал лицо в ладонях и прошептал:

– Почему, Аллах, почему ты оставил нас?

Невеста моря пала.

Все замолчали. Никаких горестных криков и причитаний, как обычно бывало при плохих новостях. Полная тишина в комнате и только непонятные слова из приемника.

Башар встал и выключил радио. Стало слышно, как дети играют в футбол на улице. Первая фраза, нарушившая тишину, прозвучала из уст Мариам:

– Мы вернемся.

На следующий день по Радио Палестины в последний раз прозвучало «Боже, храни короля». Верховный комиссар, сэр Алан Каннингем, произнес краткую речь и приказал спустить «Юнион Джек» с Дома правительства в Иерусалиме. Затем взошел на борт последнего крейсера в Хайфе, который спокойно и по расписанию снялся с якоря. Ни один араб и ни один еврей не пришли проводить его. Была пятница, 14 мая 1948 года. Вечером диктор по радио объявил, что евреи танцуют на улицах Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы. Бен-Гурион провозгласил их государство. Амаль вымыла посуду, помогла Джibriлю почистить зубы и, уставшая, легла на матрас. Через открытую дверь она увидела Жоржа, который стоял с Ибрагимом в свете уличного фонаря перед входом в дом и курил. Она слышала, как дедушка сказал:

– Все они поднимали здесь свои флаги. Римляне, персы, турки, англичане... и в конце концов все они уходили.

Амаль обняла спящего Джibriля, с которым делила ложе. Все спали в одной комнате; днем матрасы складывали стопкой в стенной нише, ночью расстилали на полу. Несмот-

ря на свинцовую усталость в ногах, Амаль не могла уснуть. Цикады стрекотали как сумасшедшие. Ожесточенная, одинокая тишина лежала над городом. Башар вышел на улицу к мужчинам. Потребовал и себе сигарету. Жорж покачал головой. Ты еще мал, возразил он. Башар потянулся к пачке в руке деда, взял сигарету и прикурил. Жорж хотел выбить сигарету у него из пальцев, но Башар отдернул руку. Впервые Жорж не стал настаивать. Возможно, от усталости, или же понимая, что не может остановить время, и втайне радуясь, что его сын уже не ребенок. Сейчас им нужен каждый мужчина.

Среди ночи выстрелы резко вырвали Амаль из сна. Она прижала к себе младшего брата. Рядом привстала с матраса Мариам. За окном раздавались радостные крики, и ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, что стреляют свои. Открыв дверь, они увидели молодых вооруженных парней, бегущих по улице:

– Вставайте! Арабы идут!

Жорж включил радио. Амаль не понимала всего, что говорили взрослые, но главное уяснила: они больше не одни. Братья-арабы спасут их, и они вернутся домой. Волна облегчения, даже эйфории охватила людей и вырвала город из паралича. Мужчины выбегали из домов прямо в нижних рубашках, незнакомцы обнимали друг друга, а женщины раздавали бойцам сладости. Действительно, на следующее утро все убедились, что это не слухи: в полночь Дамаск, Каир, Бей-

рут, Амман и Багдад объявили войну новорожденному Израилю. Их армии пересекли Иордан и Голанские высоты и двинулись на Синай. Король Трансиордании Абдалла торжественно заявил по радио, что арабы спешат на помощь палестинским братьям и с Божьей помощью освободят Святую землю от сионизма. Радио Каира и Радио Дамаска обещали скорую победу.

* * *

Последующие несколько дней люди снова ходили с высоко поднятыми головами. Кафе были заполнены до поздней ночи, радиостанции играли патриотические песни, а речи арабских лидеров звучали на улицах. На короткий миг все арабы, от Каира до Багдада, стали единым огромным телом, вставшим на защиту своей гордости. Ссоры между лидерами померкли перед целью раз и навсегда стряхнуть общее иго колониальных держав, и сионисты стояли в одном ряду с англичанами и французами. Их считали такими же захватчиками из Европы, а еврейство были готовы принять как религиозную общину, но не как нацию. Арабские войска перешли границу, когда-то проведенную по песку Сайксом и Пико ²⁵. Говорили, что через несколько дней кошмар за-

²⁵ Соглашение Сайкса – Пико – тайное соглашение 1916 года между Францией, Британией, Россией и Италией о разделе зон влияния этих стран на Ближнем Востоке.

кончится. Перед мечетью и церковью люди танцевали дабку²⁶, чтобы придать себе храбрости. Амаль выбежала из дома, чтобы танцевать вместе со всеми. Никто не остановил ее, в такое время все было разрешено. Это был танец на вулкане. Страна была охвачена пламенем, но все же люди надеялись, что беда пройдет стороной. Они победят, потому что правда на их стороне. Потому что они живут здесь.

* * *

А потом Амаль впервые увидела мертвого человека в центре города. Это произошло неожиданно, и она оказалась к такому совершенно не готова. Его рука нелепо свисала из открытого джипа, а голова с окровавленными волосами подпрыгивала на металле кузова, когда молодые бойцы ехали по улице со своим трофеем. Машина промчалась мимо Амаль с матерью, когда те возвращались с рынка. Она увидела, что в машине лежит еще и мертвая женщина. У нее были короткие волосы, а летнее платье в цветочек было разорвано. Мариам перекрестилась и закрыла рукой глаза Амаль.

– Да помилует Аллах их души, – пробормотала Мариам.

Молодые парни, игравшие в нарды перед кафе, разом вскочили и вскинули вверх кулаки, приветствуя бойцов, словно произошло что-то великое. Амаль не понимала смыс-

²⁶ Дабка («топот») – ближневосточный танец, который исполняется во время отмечаия важных событий, основные движения – прыжки.

ла происходящего, но поскольку никто не задавал вопросов, она решила, что смерть для этих двух человек стала расплатой.

– Что плохого они сделали? – спросила она, но Мариам не ответила.

Никто не ответил ей, да, похоже, никто и не задавался этим вопросом. Именно это и пугало больше всего. Лишь одно слово, «евреи», будто оно все объясняло. Деяния человека больше не имели значения, важно было только то, кто он.

Потом Амаль увидела, как из кафе выбежал Башар вместе с двумя двоюродными братьями, у обоих было оружие. Башар вскинул вверх кулак, что выглядело почти смешно, ведь ему было лишь десять лет, но, похоже, так думала лишь Амаль, потому что Амир и Хабиб тоже вскинули кулаки, вот только кулаки эти сжимали винтовки. На самом деле Амаль было не смешно, а не по себе – словно брат играл какую-то роль. Мариам кинулась к сыну, ухватила его за руку:

– Что ты здесь делаешь? Немедленно домой!

– Отстань от меня!

Башар вырывался, но Мариам была непреклонна. Держа сына за шиворот, она потащила его через дорогу. Униженный перед братьями Башар ругался почему зря. Амаль попыталась успокоить обоих, но и мать, и брат окончательно потеряли контроль над собой.

– Ну смотри, отец об этом узнает! – крикнула Мариам.

Башар с такой силой оттолкнул мать, что она упала, выпу-

стив его. Он рванул за кузенами вслед за джипом. Амаль помогла матери подняться. Она никогда не забудет выражение стыда на ее лице. Башар вернулся домой только поздно вечером, и Мариам не сказала ему ни слова. Жорж должен был образумить сына, но Жоржа дома не было. Он ушел, пообещав жене вернуться к вечеру. Однако до сих пор не появился. Амаль узнала, что отец отправился в Яффу, тайком через поля, – проверить апельсиновые рощи, технику и, главное, дом. Он отсутствовал всю ночь и весь следующий день. Мариам попыталась уговорить мужчин поискать его, но даже для вооруженных людей это было слишком опасно.

Когда на рассвете третьего дня Жорж появился на пороге, Амаль испугалась, приняв его за незнакомца. Костюм был порван и грязен, на лбу засохшая кровь, глаза лихорадочно блестели – то ли от бессонницы, то ли от увиденного.

– Яффа – как туша на бойне, – сказал он. – На улице Бутрус все магазины взломаны, витрины разбиты, товары разграблены. Мыловарня Ханны Домиани, библиотека Сакакини, клуб Святого Антония, где мы играли в бильярд, все... как животное, которому вырвали кишки.

Его голос дрогнул.

– Сядь, – сказала Мариам, снимая с мужа пиджак, но Жорж беспокойно метался по комнате.

Башар и Джibriль обняли отца.

– Я хотел пробраться к нашему дому. Но они установили забор, прямо через центр города. Наш Аджами отделен ко-

лючей проволокой, точно в клетке. И полно солдат с автоматами и злыми собаками. Я не смог подойти ближе, но за забором были сотни, может, и тысячи людей, их держат там точно скот. Я узнал Оума Рашида и Камалья Гедая, аптекаря. Они согнали в Аджами всех арабов, которые прятались в своих домах. Мне удалось укрыться в разрушенном доме до наступления ночи, затем я пробрался к забору. Камаль держался все так же достойно, хоть костюм его и был в плачевном состоянии, а шляпа и вовсе исчезла. Увидев меня, он отвел взгляд, так ему было стыдно. Хотя это мне положено стыдиться – за то, что бросил их. Беги, сказал он, скорее!

Жорж не хотел говорить о том, что произошло дальше. Не при детях. Не в присутствии тестя. Только ночью, полагая, что остался наедине с Мариам, он рассказал жене дальнейшее. Амаль не спала, она босиком прокралась к зарешеченному окну, выходящему во двор, где сидели Жорж и Мариам. И все слышала.

Его остановил армейский патруль, искавший мародеров и арабов. Жорж пытался сопротивляться, его избили, связали и запихнули в джип, который перевозил пленных в Аджами. Ему повезло – один из солдат узнал его. Яков, сын Аврама Леллуша, которому не исполнилось еще и двадцати. Жорж приходил к ним в гости на рождение Якова, на его обрезание и бар-мицву. Яков был потрясен, узнав друга своего отца. Он не сказал ни слова, и Жорж понял, что лучше не открывать их знакомство. Яков переговорил с офицером, потом вер-

нулся в машину и повез пленника в сторону Аджами. Они обменялись парой фраз. Как отец. Хорошо. А мать. Хорошо. Про их Яффу, которая уже не была их Яффой, оба молчали – так из суеверия или почтительности ради не говорят плохого об умирающем. На темном углу Яков остановился, развязал Жоржа и отпустил. *Мазаль тов*. На восток из города, через чертополох, в поля, в ночь. Когда Жорж бежал прочь от берега, сердце его взбунтовалось. Хотелось вернуться к морю, в прошлое, ко всему, что окружало его и взрастило его. Родина – это как кожа, и его кожа горела.

Взрослому трудно понять, что происходит в сердце ребенка, когда он слышит то, что не предназначено для его ушей. Горло Амаль сдавило не столько от описания родной Яффы, сколько от боли за беспомощного отца. Он всегда был сильным, уверенным в спорах, великодушным в прощении. Его отец – змееборец на коне. А теперь он сидел во дворике и плакал. В его сердце разбилось что-то важное – Яффа его детства. Он понял, что этот город, живший в его душе прекрасной мозаикой из разных людей и культур, эта Яффа, которую он хотел передать детям, навсегда утрачена. Больше не будет соседей, только победители и побежденные.

Хотя арабская пропаганда пророчила быструю победу, достаточно было пройтись по улицам Лидды, чтобы осознать истинное положение. Жорж перестал торчать у радио и вместе с другими добровольцами раздавал еду беженцам, десятки тысяч которых заполнили городок. Сирина, Кафр-Са-

ба, Касария, Аль-Самакия... каждая деревня, каждая семья, каждый человек принесли собственную историю; отдельные судьбы сплетались в повествование о целом народе; насильственное выкорчевывание из родной почвы, разорванные судьбы, черепки сожженной земли – все вместе они складывались в картину, столь не похожую на официальную пропаганду. Эти истории редко говорили о героизме, в основном – о страхе.

Ко дню провозглашения Еврейского государства, 14 мая 1948 года, сионистские ополченцы захватили почти все города, включая Цфат, Тверию, арабские и смешанные кварталы Хайфы, Западный Иерусалим... и, наконец, Яффу. Еще до того, как арабские государства объявили войну, более трехсот тысяч человек бежали или были изгнаны – четверть арабского населения Палестины. Двести деревень обезлюдели. Многие, кто прятался в полях или укрылся в соседних поселениях, по возвращении обнаружили, что их домов больше нет. Их взорвали ополченцы.

– Пощадили только мечеть, – сказала пожилая крестьянка из Галилеи, которой не удалось спасти ничего, кроме собственной жизни.

И это было только начало. Уже через день после выступления Бен-Гуриона в Тель-Авиве, в шаббат 15 мая, Иргун атаковал Рамлу, соседний с ними город. 16 мая Хагана взяла штурмом Акку, осажденный прибрежный город на севере страны. Голод, малярия и минометный огонь ослабили со-

противление жителей, и уже 17 мая Акка пала. Десятки тысяч палестинских арабов были депортированы на грузовиках через границу в Ливан или бежали пешком. На плане ООН оба города находились не в еврейской части разделенной страны. Палестинские бойцы как могли сдерживали наступление на Рамлу – но день за днем сдавались все новые и новые деревни. В Лидде не осталось ни одного дома, который бы не приютил семью беженцев. Отчаявшиеся люди телеграфировали королю Трансиордании Абдалле с просьбой прислать на помощь армию.

* * *

Жорж больше не питал иллюзий. Лидду не пощадят, хотя, согласно плану, она находится на арабской стороне. План был не более чем листом бумаги. Арабы отвергли его, и Бен-Гурион провозгласил создание Еврейского государства, не определив его границ. В долине Лидда, всего в двадцати километрах от Тель-Авива, пересекались важнейшие дороги страны, здесь находился международный аэропорт и источник пресной воды, снабжавший Иерусалим.

Лидда возлагала надежду только на Арабский легион Трансиордании. Но король Абдалла решил защищать Восточный Иерусалим с его исламскими святынями. Его солдаты вошли в Священный город, западные кварталы которого уже пали. В Лидду направили лишь символический кон-

тингент в 125 человек. К ним присоединился конный отряд из сорока босоногих бедуинов, которые горделиво въехали в город, готовые бросить вызов смерти и безнадежно уступая врагу в численности. Палестинцы чувствовали себя преданными своими арабскими братьями. Даже пакт о ненападении, который они заключили с соседней еврейской деревней Бен-Шемен, уже ничего не стоил: против воли мэра Зигфрида Леманна, педагога из Берлина, Хагана заняла его молодежную деревню, превратив ее в крепость. Дети и молодые люди, среди которых был иммигрант из Польши по имени Шимон Перский ²⁷ и которых Леманн учил жить в добрососедских отношениях с арабами, надели военную форму.

* * *

Палестинские боевики на блокпостах вокруг Лидды никого не выпускали. Они знали, что если женщины и дети останутся в городе, мужчины будут защищать их до последнего. На проселочных дорогах арабские солдаты останавливали беглецов и отправляли их обратно. Но было уже слишком поздно. Впрочем, Мариам не уехала бы даже без этого запрета. Когда Жорж рассказал ей про Яффу, она поняла, что отныне вопрос стоит как «все или ничего». Они потеряют не только город, но и всю страну – если не будут сражаться.

²⁷ Будущий президент Израиля (2007–2014) Шимон Перес.

И пусть никто потом не сможет упрекнуть их, будто они не защищали родину.

Мариам и ее сестра записались в комитет по оказанию первой помощи. Они ходили от семьи к семье, собирая пожертвования для клиники, которую они наспех обустроили в арендованном доме. Жорж присоединился к комитету торговцев, собиравших продукты, они привозили пшеницу, масло и сахар из Наблуса, Дженина и Рамаллы. Ибрагим патрулировал город вместе с комитетом по противодействию ворами и шпионам. А Башар страстно мечтал вступить в вооруженный комитет, где молодых людей обучали стрельбе из винтовок и легких пулеметов. Жорж не разрешил, но и напрямую не запретил. Он только настоятельно попросил кузенов не давать Башару оружие, а отправить его на помощь тем, кто роет окопы и возводит заграждения из мешков с песком.

Амаль пришлось остаться в доме. В свои шесть лет она была достаточно большой, чтобы все видеть, но слишком маленькой, чтобы влиять на происходящее. Она сидела скрестив ноги на ковре, прислонившись головой к теплому, знакомому телу бабушки, и смотрела, как ее старые морщинистые пальцы ведут иглу по красной ткани. Бабушка вышивала тауб – длинный льняной кафтан, который по торжественным случаям надевали все палестинские женщины, даже те, кто в повседневной жизни носил юбки и блузки. Узоры вышивки рассказывали об истории их деревень и городов, нити окрашивались кожей граната, толчеными ракушками и

виноградными листьями.

– Кто увидит тебя в этом платье, – сказала бабушка, – тот прочтет по нему твое происхождение. Оранжевые ветви на вырезе символизируют поля вашей семьи. Зеленые треугольники – это кипарисы, которые защищают апельсиновые деревья от ветра, так же как и платье должно защитить тебя от тяжелых времен. А волнистый узор цвета индиго говорит о Средиземном море, глубоко вплетенном в твою душу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.